

Ги-де Мопассан

РАССКАЗЫ  
ФРАНКО-ПРУССКОЙ  
ВОЙНЕ

Р  
30868



ОГНЗ

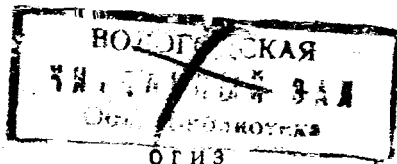
Гослитиздат-1912



*Ги де Мопассан*

РАССКАЗЫ  
О ФРАНКО-ПРУССКОЙ  
ВОЙНЕ

30862



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1942

М 78 + франц.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	3
Пышка. Перев. Е. Гунста . . . . .	6
Помешанная. Перев. А. Чеботаревской . . . . .	71
Два приятеля. Перев. А. Чеботаревской . . . . .	77
Дуэль. Перев. Е. Гунста . . . . .	88
Мадмуазель Фифи. Перев. А. Чеботаревской . . . . .	96
Пленные. Перев. Г. Рачинского . . . . .	117
Папаша Милон. Перев. Н. Гарвея . . . . .	135
Приключение Вальтера Шнафса. Перев. А. Чеботаревской . . . . .	145
Тетка Соваж. Перев. И. Смидович . . . . .	158

---

Редактор З. Гильдина

Тираж 50000

Подписано к печати 15 декабря 1941 г.

А-65050, 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> печ. листов, 5,68 авт. ли-

стов. Цена 1 р. 75 к.

---

Новосибирск. Тип. № 1 Облесполкома. Зак. № 207

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Мопассан, один из замечательных французских писателей XIX века, был участником франко-прусской войны 1870—1871 гг. Ему было тогда двадцать лет; впечатления этого времени глубоко, навсегда врезались в память писателя и легли в основу многих последующих его произведений.

Немецкие оккупанты вели себя во Франции с неопишуемой жестокостью, с вызывающим зверством, оскорбляя национальное достоинство французов, издеваясь над ними, бесцельно истребляя их имущество, грабя и насилая их, лишая их крова.

Мопассан в ряде рассказов изобразил великую скорбь униженной захватчиком Франции и высказал страстное восхищение теми безвестными народными бойцами, которые вписали свой героический подвиг в летопись этой войны.

В рассказе «Помешанная» Мопассан повествует о возмутительном издевательствах наглого, грубого прусского офицера над беспомощной, больной женщиной. Она не подчиняется его приказам, потому что не понимает их, — она сумасшедшая. Но офицер приказывает выбросить ее, вместе с постелью, из ее дома в лес, на

снег... Бедная больная одиноко умирает в лесу. В рассказе «Два приятеля» то же издевательство и зверство врага превращает двух обывателей в патриотов-героев, предпочитающих умереть, но не выдать врагу военную тайну.

В рассказе «Дуэль» — новая картина наглых издевательств прусского захватчика над скромным обывателем. Но этот миролюбивый торговец — отнюдь не воинственный человек — находит в себе мужество и отвагу для отпора зарвавшемуся победителю. Он убивает пруссака, и его победе рукоплещут посторонние люди. То рукоплещет сама справедливость.

В ряде рассказов Мопассан с огромной силой реалистического убеждения, с исключительным мастерством изображает попираемый, насилуемый, оскорбляемый французский народ, который находит в себе самом неиссякаемый источник здорового, могучего патриотизма, стихийной воли к отпору немецким поработителям. Писатель создал немало образов незаметных людей из народной массы, великих в своем героизме, мужественной мести и благородном самопожертвовании. Эти могучие характеры возникают и показываются внезапно, как искра из кремня, — а в нем так много этих искр!

В рассказе «Пленные» дочь лесника, сильная, крепкая «лесная дева», вынуждена приютить заблудившийся немецкий отряд, но, прибегнув к хитрости, превращает шестерых пруссаков в своих пленных. Героизм этой молодой женщины-

ны, бесстрашно осуществляющей свой смелый замысел, ее простая и сильная любовь к родине, стойкая ненависть к врагу не могут не вызывать восхищения.

В рассказе «Папаша Милон» перед читателем — французский крестьянин, скромный, подлинный и великий патриот. Всею душой ненавидя захватчиков, полный жажды мести, он борется с ними, мстит им теми средствами, которые находятся у него в руках. Он одиночка, не имеет поддержки, он слаб и гибнет, но писатель создает ему вечный памятник, сосредоточенно, сжато и взволнованно рассказывая о его редком, стоическом мужестве.

В рассказах Мопассана, в аналогичных произведениях Золя, Додэ и многих других представителей французской литературы той поры наглые прусские насильники были прокляты человечеством прошлого.

В то время когда полчища гитлеровских разбойников вторглись в пределы нашей социалистической родины, убивая мирное население и тщетно пытаясь поработить свободные народы СССР, мы, советские люди, сознаем, что великая культура человечества — с нами, против захватчиков, поработителей и убийц.

Сознание это должно могуче увеличить нашу мощь, удесятерить наши силы, направив их к тому, чтобы фашизм был не только побежден, но уничтожен и бесследно стерт с лица земли.

*Ю. Данилин*

## ПЫШКА

Несколько дней подряд через город проходили остатки разгромленной армии. Это было не войско, а беспорядочные орды. У солдат отросли длинные грязные бороды, мундиры их были изорваны; двигались они вялым шагом, без знамен, вразброд. Все они казались подавленными, измученными, не способными ни мыслить, ни действовать и шли по привычке, падая от усталости при первой же остановке. Особенно много было запасных — миролюбивых людей, безобидных рантье, изнемогавших под тяжестью винтовки, легко поддающихся страху и скорых на воодушевление, одинаково готовых и к атаке и к бегству; временами среди них попадалось несколько красных шаровар — остатки дивизии, искрошенной в большом сражении, — мрачные артиллеристы, идущие в ряду с пехотинцами различных полков, а изредка — блестящая каска драгуна, который с трудом поспевал тяжелой поступью за более легким шагом пехоты.

Проходили и дружины вольных стрелков с



героическими наименованиями: «Отмстители за поражение», «Граждане Могилы», «Причастники Смерти», но вид у них был самый разбойничий.

Их начальники, бывшие торговцы сукнами или зерном, недавние продавцы сала или мыла, случайные воины, произведенные в офицеры за деньги или за длинные усы, облаченные в сукно с галунами и увешанные оружием; разглагольствовали оглушительными голосами, обсуждали планы кампании, самодовольно утверждая, что их плечи — единственная опора умирающей Франции; а между тем они нередко опасались своих же собственных солдат, подчас не в меру храбрых, висельников, грабителей и распутников.

Говорили, что пруссаки вот-вот вступят в Руан.

Национальная гвардия, которая последние два месяца производила весьма осторожную разведку в окрестных лесах — причем иногда подстреливала своих собственных часовых и готовилась к бою, как только крошечный заяц заводится в кустах, — теперь вернулась к домашним очагам. Ее оружие, мундиры, все ее смертоносные принадлежности, которыми она еще недавно пугала верстовые столбы больших дорог на протяжении трех лье в округности, теперь внезапно исчезли.

Последние французские солдаты только что переправились, наконец, через Сену, следуя в Понт-Одемер через Сен-Север и Бур-Ашар; позади всех пешком шел генерал с дву-

мя адъютантами; он совершенно пал духом, потому что не решался предпринять что-либо с этими обрывками войска и был ошеломлен великим разгромом народа, привыкшего побеждать и безнадежно разбитого, несмотря на свою легендарную храбрость.

Затем над городом распростерлась глубокая тишина, безмолвное и жуткое ожидание. Многие буржуа, разжиревшие у себя за прилавком и утратившие всякую мужественность, с тревогой ждали победителей, опасаясь, как бы их вертела для жаркого и большие кухонные ножи не были сочтены за оружие.

Жизнь, казалось, остановилась; лавочки закрылись, улицы стали безмолвны. Изредка вдоль стен торопливо пробегал прохожий, напуганный этой тишиной.

Ожидание было мучительно, и хотелось уж, чтобы неприятель появился поскорее.

На другой день пополудни, после ухода французских войск, по городу промчалось несколько уланов, появившихся неведомо откуда. Затем, немного позже, по склону Сент-Катрин спустилась черная лавина, в то время как два других вторгающихся потока показались на Дарнетальской и Буагийомской дорогах. Авангарды трех корпусов одновременно соединились на площади ратуши, и по всем соседним улицам развернутыми батальонами стала прибывать немецкая армия; мостовая гудела от их твердой, размеренной поступи.

Слова команды, выкрикиваемые непривычным гортанным голосом, разносились вдоль домов, казалось, вымерших и брошенных жителями, между тем как из-за закрытых ставней чьи-то глаза украдкой разглядывали победителей, людей, ставших «по праву войны» хозяевами города, имущества и жизни. Обыватели, сидевшие в полутемных комнатах, были объаты тем ужасом, какой вызывают стихийные бедствия, великие и разрушительные геологические перевороты, перед которыми бессильны вся мудрость и мощь человека. Это чувство возникает всякий раз, когда ниспровергается установленный порядок вещей, когда утрачивается чувство безопасности, когда все то, что охранялось законами людей или законами природы, оказывается во власти бессмысленной и беспощадной силы. Землетрясение, уничтожающее горожан под рушащимися домами, разлившаяся река, несущая утонувших крестьян вместе с трупами волов и сорванными стропилами крыш, или победоносная армия, которая вырезает всех, кто защищается, уводит остальных в плен, грабит во имя Меча и возносит благодарение какому-то богу под грохот пушек, — все это страшные бичи, которые подрывают всякую веру в извечную справедливость, все доверие, внушаемое нам к покровительству небес и к разуму человека.

Но у каждой двери уже стучались небольшие отряды, а потом исчезали в домах. За нашествием следовала оккупация. У побежденных

появлялась новая обязанность: проявлять любезность к победителям.

По прошествии некоторого времени, когда стих первый ужас, снова установилось спокойствие. Во многих семьях прусский офицер ел за общим столом. Иногда это был вполне благовоспитанный человек, и он из вежливости жалел Францию, заявляя, что ему противно участвовать в этой войне. Ему были признательны за такие чувства; к тому же в один прекрасный день могло понадобиться его покровительство. Ухаживая за ним, быть может, удалось бы избавиться от постоя нескольких лишних солдат. Да и к чему задевать человека, от которого всецело зависишь? Действовать так означало бы проявлять скорее безрассудство, чем храбрость. А безрассудство больше не является недостатком руанских буржуа, как раньше во времена героических оборон, прославивших этот город. Наконец, люди убеждали себя — и это был высший довод, продиктованный французской учтивостью, — что у себя дома вполне допустимо быть вежливым с иноземным солдатом, лишь бы только на людях не выказывать своей близости с ним. На улице его не узнавали, зато дома охотно беседовали с ним, и немец день ото дня все дольше засиживался по вечерам, греясь у общего камелька.

Весь город мало-помалу принимал обычный вид. Французы еще избегали выходить из дому, зато прусские солдаты кишели на улицах. Впро-

чем, офицеры голубых гусар, вызывающе волочившие по тротуарам свои огромные смертоносные сабли, презирали простых граждан, казалось, не многим больше, чем офицеры стрелков, кутившие в тех же кофейнях год тому назад.

И все же в воздухе носилось нечто, нечто неуловимое и непривычное, какой-то странный и невыносимый дух, словно некий запах — запах нашествия. Он заполнял жилища и общественные места, придавал особый привкус кушаньям, порождал ощущение, будто путешествуешь по далекой-далекой стране, среди опасных диких племен.

Победители требовали денег, больших денег. Обыватели платили без конца; впрочем, они были богаты. Но чем нормандский коммерсант богаче, тем больше страдает он от каждой жертвы, от зрелища того, как крупница его достояния переходит в другие руки.

Между тем, за городом, в двух-трех лье вниз по течению, возле Круассе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся в своих мундирах трупы немцев, то зарезанных, то забитых насмерть ударами сапогов, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и законной мести, безвестного героизма, немых нападений, более пагубных, чем сражения среди бела дня, и лишенных каких бы то ни было отзвуков славы.

Ибо ненависть к Чужеземцу искони вооружает горсть Бесстрашных, готовых умереть за Идею.

Но так как завоеватели, хоть и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из тех чудовищных жестокостей, которые молва неизменно приписывала им во время их победоносного шествия, жители, в конце концов, осмелели, и потребность в торговых сделках снова ожила в сердцах местных коммерсантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, занятым французской армией, и они хотели попытаться достичь этого порта, добравшись сушею до Дьеппа, а там сесть на судно.

Было пущено в ход влияние знакомых немецких офицеров, и от командующего удалось получить разрешение на выезд.

И вот, наняв для этого путешествия большой дилижанс с четверкой лошадей, набрали десять пассажиров и решили выехать во вторник утром, до рассвета, чтобы избежать всякого рода сборов.

За последние дни мороз уже сковал землю, а в понедельник, около трех часов, большие черные тучи, надвинувшиеся с севера, принесли с собою снег, падавший беспрерывно весь вечер и всю ночь.

Утром в половине пятого путешественники собрались во дворе «Нормандской гостиницы», где им надлежало сесть в дилижанс.

Они были ещё совсем сонные и кутались в пледы, дрожа от холода. В темноте они еле различали друг друга, а многочисленные тяжелые зимние одежды делали их всех похожими на тучных кюре в длинных сутанах. Но вот двое мужчин узнали друг друга, к ним подошел третий, и они разговорились.

— Я увожу с собою жену, — сказал один из них.

— Я тоже.

— И я тоже.

Первый добавил:

— В Руан мы уже не вернемся, а если пруссаки подойдут к Гавру, — переедем в Англию.

У всех у них были одинаковые намерения, так как это были люди одного и того же склада.

А дилижанс, между тем, все не закладывали. Фонарик конюха время от времени показывался из одной темной двери, затем немедленно исчезал в другой.

Из глубины конюшни доносился лошадиный топот, приглушенный навозом подстилок, и мужской голос, обращавшийся с руганью к лошадям. По легкому позвякиванию бубенчиков можно было судить о том, что прилаживают сбрую; это позвякивание вскоре перешло в отчетливый, непрерывный звон, отвечавший размеренным движениям лошади; иногда он замирал, затем возобновлялся после резкого рывка, сопровождавшегося глухим стуком подкованного копыта о землю.

Внезапно дверь затворилась. Все стихло. Промёрзшие путники умолкли; они стояли, не двигаясь, оцепенев от холода.

Сплошная завеса белых хлопьев беспрерывно мелькала, ниспадая на землю; она стусывала очертания, осыпала все предметы льдистым мхом; и в великом безмолвии затихшего города, погребенного под покровом зимы, слышался один лишь неясный, невыразимый, зыбкий шелест падающего снега, — скорее ощущение звука, чем самый звук, смешение легких атомов, которые, казалось, заполняли все пространство, окутывали весь мир.

Человек с фонарем снова появился, таща на веревке понурую, нехотя переступавшую лошадь. Он поставил ее возле дышла, привязал постромки и долго вертелся вокруг, укрепляя сбрую одной рукой, так как в другой держал фонарь. Направляясь за второй лошадью, он заметил неподвижно стоявших путешественников, совсем уже побелевших от снега, и сказал им:

— Что же вы не садитесь в карету? Там вы, по крайней мере, будете под кровом.

Они, вероятно, не подумали об этом и теперь разом устремились к дилижансу. Трое мужчин разместили своих жен в глубине экипажа и вслед за ними влезли сами; потом на оставшиеся места, не обменявшись ни словом, уселись прочие смутные и расплывчатые фигуры.

Пол дилижанса был устлан соломой, в которой тонули ноги. Дамы, сидевшие в глубине ка-



реты, захватили с собою медные грелки с химическим углем; они разожгли эти приборы и некоторое время шопотом перечисляли друг другу все их качества, повторяя вещи, всем им давно известные.

Наконец, когда дилижанс был запряжен шестью лошадьми вместо обычных четырех, ввиду трудной дороги, чей-то голос снаружи спросил:

— Все разместились?

Голос изнутри ответил:

— Все.

Тогда тронулись в путь.

Карета ехала медленно-медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу; весь кузов стонал и глухо потрескивал; лошади поскользывались, задыхались, от них валил пар; длинный кнут возницы безустали хлопал, летал во все стороны, свиваясь и разворачиваясь, как тоненькая змейка, и стегал вдруг по какому-нибудь выпрыгнувшему крупу, который после этого напрыгался еще отчаяннее.

Постепенно рассветало. Легкие хлопья, которые один из пассажиров, чистокровный руанец<sup>1</sup>, сравнил с дождем из хлопка, переставали сыпаться. Грязноватый свет сочился сквозь большие, темные, грузные тучи, которые еще резче подчеркивали ослепительную белизну полей, где виднелся то ряд высоких деревьев, подернутых инеем, то хижина под снежной шапкой.

<sup>1</sup> Намек на развитую в Руане хлопчатобумажную промышленность.

При грустном свете этой зари пассажиры стали с любопытством разглядывать друг друга.

В самой глубине, на лучших местах, лицом к лицу дремали супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон.

Бывший приказчик, Луазо купил дело у своего обанкротившегося хозяина и нажил состояние. Он по весьма дешевой цене продавал мелким провинциальным торговцам весьма дрянное вино и слыл среди друзей и знакомых за огъявленного плута, за настоящего нормандца — хитрого и жизнерадостного.

Репутация мошенника настолько укрепилась за ним, что как-то на вечере в префектуре г-н Турнель, сочинитель басен и песенок, язвительный и тонкий ум, местная знаменитость, предложил вздремнувшим от скуки дамам сыграть в игру «птичка летает»<sup>1</sup>; острота эта облетела все гостиные префекта, затем проникла в гостиные горожан, и целый месяц вся округа лопалась с хохота.

Помимо этого, Луазо славился всевозможными смешными выходками, а также то удачными, то плохими шутками, и никто не мог, заговорив о нем, не прибавить тут же:

— Этот Луазо прямо-таки неподражаем!

Он был невысокого роста и, казалось, состоял из одного шарообразного живота, над которым

---

<sup>1</sup> Птичка летает — в оригинале каламбур, основанный на том, что слова «L'oiseau vole» (птичка летает) однозвучны с «Loiseau vole» (Луазо ворует).

возвышалась красная физиономия, обрамленная седеющими бачками.

Его жена, высокая, полная, энергичная женщина, обладавшая резким голосом и склонностью к стремительным решениям, воплощала в себе порядок и счетоводство их торгового дома, тогда как сам Луазо оживлял его своею жизнерадостной суетней.

Возле них сидел с видом большого достоинства, вследствие своей принадлежности к высшей касте, г-н Карре-Ламадон — человек значительный, хлопчатобумажный фабрикант, владелец трех бумагопрядилен, офицер Почетного легиона и член департаментского совета. Во все время Империи он возглавлял благонамеренную оппозицию — единственно с той целью, чтобы ему впоследствии побольше заплатили за присоединение к тому строю, с которым он боролся, по его выражению, оружием учтивости. Г-жа Карре-Ламадон, будучи гораздо моложе своего мужа, служила утешением для присланных в руанский гарнизон офицеров из хороших семей.

Она сидела напротив мужа — маленькая, миленькая, хорошенькая, закутанная в меха, и сокрушенно разглядывала жалкую внутренность дилижанса.

Соседи ее, граф и графиня Юбер де Бревиль, носили одно из стариннейших и знатнейших нормандских имен. Граф, пожилой дворянин с величественной осанкой, старался подчеркнуть ухищрениями туалета свое природное сходство с

королем Генрихом IV, от которого, согласно легенде для рода преданию, забеременела некая дама Бревиль, муж которой по сему поводу получил графский титул и губернаторство.

Граф Юбер, коллега г-на Карре-Ламадона по департаментскому совету, представлял местную орлеанистскую партию. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца всегда оставалась загадочной. Но так как графиня обладала величественными манерами, принимала лучше кого бы то ни было и даже слыла за бывшую возлюбленную одного из сыновей Луи-Филиппа, — вся знать ухаживала за нею, и ее салон считался первым в департаменте, единственным, где сохранилась еще старинная любезность и попасть в который было нелегко.

Состояние Бревилей, целиком заключавшееся в недвижимости, приносило, по слухам, пятьсот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть человек занимали глубину дилижанса и представляли собою богатый, уверенный в себе и могущественный слой общества, людей, облеченных властью и придерживающихся религии и твердых принципов.

По странной случайности все женщины разместились на одной скамье, и рядом с графиней, по другую сторону, сидели две монахини, перебивавшие длинные четки и шептавшие «Pater» и «Ave»<sup>1</sup>. Одна из них была пожилая, с изрытым оспою лицом, словно в нее некогда в упор

---

<sup>1</sup> «Pater» и «Ave» — католические молитвы.

выстрелили картечью. У другой, очень тщедушной, было красивое болезненное лицо и чахоточная грудь, которую терзала та всепоглощающая вера, что создает мучеников и иступленных.

Сидевшие против монахинь мужчина и женщина привлекали всеобщее внимание.

Мужчина был хорошо известный Корнюде, демократ, пугало всех почтенных людей. Уже целых двадцать лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кафе. Он прокутил с братьями и приятелями довольно большое состояние, полученное от отца, бывшего кондитера, и с нетерпением ждал прихода республики, чтобы получить, наконец, место, заслуженное столькими революционными возлияниями. Четвертого сентября<sup>1</sup>, быть может, в результате чьей-нибудь шутки, он почел себя назначенным на должность префекта; но когда он вздумал вступить в исполнение своих обязанностей, писаря, ставшие единственными хозяевами префектуры, отказались признать его, почему он и вынужден был ретироваться. Будучи в общем добрым малым, безобидным и услужливым, он с бесподобным рвением принялся за организацию обороны. Под его руководством в полях вырыли волчьи ямы, в соседних лесах вырубали все молодые деревца, все дороги усеяли западнями; удовлетворив-

---

<sup>1</sup> Четвертого сентября — имеется в виду 4 сентября 1870 г., день свержения Второй империи и провозглашения Третьей республики.

Шись этими мерами, он с приближением врага поспешно отступил к городу. Теперь он полагал, что гораздо больше пользы принесет в Гавре, где также было необходимо вырыть траншеи.

Женщина — из числа так называемых «легких» — славилась своею преждевременною полнотою, которая стяжала ей прозвище «Пышки». Маленькая, кругленькая, очень полная, с пухлыми пальцами, перетянутыми в суставах наподобие связки коротеньких сосисок, с лоснящейся и натянутой кожей, с необъятной грудью, выдававшейся под платьем, она все же оставалась аппетитной, и за нею немало увивалось — до такой степени была приятна взору ее свежесть. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься бутон пиона; два великолепных черных глаза, осененные длинными густыми ресницами, ярко выделялись, а глаза казались еще темнее; прелестный маленький влажный рот, с крошечными блестящими зубками, был создан для поцелуя.

Кроме того, по слухам, она отличалась еще целым рядом неопенимых достоинств.

Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье; слова «девка», «срам» были произнесены столь внятным шопотом, что Пышка подняла голову. Она окинула всех своих соседей таким вызывающим и дерзким взглядом, что тотчас же наступила полнейшая тишина и все потупились, исключая Луазо, который игриво поглядывал на нее.

Скоро, однако, разговор между тремя дамами возобновился; присутствие этой девушки неожиданно сблизило, почти сдружило их. Они, казалось им, должны были объединиться в своей добродетели, как замужние женщины, перед лицом этой бесстыжей продажной твари; ведь любовь законная всегда относится свысока к своей свободной сестре.

Трое мужчин, которых в присутствии Корнюде тоже сближал инстинкт консерваторов, говорили о деньгах, и в тоне их чувствовалось презрение к беднякам. Граф Юбер рассказывал об убытках, причиненных ему пруссаками, о потерях, связанных с покражей скота и гибелью урожая, но в словах его сквозила уверенность вельможи и архимиллионера, которого этот ущерб мог стеснить не больше, чем на какой-нибудь год. Г-н Карре-Ламадон, сильно пострадавший в хлопчатобумажной промышленности, заблаговременно озаботился перевести в Англию шестьсот тысяч франков — запасный капитал, прибереженный им на всякий случай. Что касается Луазо, то он ухитрился продать французскому интендантству весь запас дешевых вин, хранившийся в его подвалах, так что государство было должно ему огромную сумму, которую он и надеялся получить в Гавре.

И они, все трое, обменивались беглыми дружелюбными взглядами. Несмотря на разницу своего общественного положения, они чувствовали себя братьями по деньгам, членами вели-

кой франкмасонской ложи, объединяющей всех собственников, всех тех, кому ничего не стоит, опустив руку в карман, зазвенеть золотом.

Карета двигалась так медленно, что к десяти часам утра не проехали и четырех лье. Пассажиры начали волноваться, так как завтракать должны были в Тоте, а теперь уже не было надежды добраться туда раньше ночи. Каждый выглядывал в окно, надеясь увидеть какой-нибудь придорожный трактирчик, как вдруг карета застряла в сугробе, и потребовалось целых два часа, чтобы выволить ее оттуда.

Голод усиливался, мутил рассудок, но так и не попадалось ни единой харчевни, ни единого кабачка, потому что приближение пруссаков и отход голодных французских войск нагнали страх на владельцев всех предприятий.

Мужчины бегали за съестным на фермы, встречавшиеся по дороге, но не находили там даже хлеба, так как недоверчивый крестьянин скрывал свои припасы из страха, что они будут разграблены солдатами, которые, совершенно изголодавшись, отнимали силой все, что попадалось им на глаза.

Около часу пополудни Луазо заявил, что чувствует положительно невыносимую пустоту в желудке. Все давно уже страдали не меньше его; жестокая и все возрастающая потребность утолить голод отбила всякую охоту к разговору.

Время от времени кто-нибудь из пассажиров начинал зевать; его примеру почти тотчас же



следовал другой; каждый поочередно, соответственно своему характеру, воспитанности и общественному положению, открывал рот с шумом или беззвучно, быстро заслонял рукою зияющее отверстие, из которого валил пар.

Пышка несколько раз наклонялась, словно отыскивая что-то у себя под юбками. Но, прѣбыв мгновенье в нерешительности, она взглядывала на соседей, потом снова спокойно выпрямлялась. У всех были бледные, напряженные лица. Луазо утверждал, что заплатил бы за окорочок тысячу франков. Его жена сделала движение, как бы возражая, но потом успокоилась. Разговоры о выброшенных зря деньгах всегда причиняли ей настоящее страдание, и она даже не понимала шуток на этот счет.

— Что ни говорите, а мне не по себе, — молвил граф. — Как это я не позаботился о провизии?

Каждый мысленно упрекал себя в том же.

Однако у Корнюде оказалась целая фляжка рома; он предложил его желающим; все холодно отказались. Один только Луазо согласился отхлебнуть глоток и, возвращая фляжку, поблагодарил:

— А ведь хорошо! Греет и заглушает голод.

Алкоголь привел его в хорошее настроение, и он предложил поступить, как на корабле, о котором поется в песенке: съесть самого жирного из путешественников. Этот косвенный на-

мек на Пышку шокировал благовоспитанных особ. Г-ну Луазо не ответили; один только Корнюде улыбнулся. Монахини перестали бормотать молитвы и, запрятав руки в громадные рукава, сидели, не двигаясь, упорно не подымая глаз, и, несомненно, принимали ниспосланную им небесами муку за испытание.

Наконец, часа в три, когда проезжали бесконечной равниной, где не было видно ни единой деревушки, Пышка проворно нагнулась и вытащила из-под скамьи большую корзину, закрытую белой салфеткой.

Сначала она вынула из нее фаянсовую тарелочку и серебряный стаканчик, потом объемистую кастрюлю, где находилось два цыпленка, разрезанных на куски и застывших в желе; в корзине можно было заметить и другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пироги, фрукты, лакомства и прочую снедь, запасенную с расчетом на трехдневное путешествие, чтобы не притрагиваться к трактирной еде. Между свертками со съестным выглядывало четыре бутылочных горлышка. Пышка взяла крылышко цыпленка и деликатно принялась есть его, закусывая хлебом, носящим в Нормандии название «режанс».

Все взоры устремились к ней. Вскоре в карете распространился запах, от которого расширились ноздри, во рту появилась обильная слюна, и возле ушей мучительно сводило челюсти. Презрение дам к этой девке превращалось в ярость, в дикое желание убить ее или вышвыр-

нуть вон из дилижанса, в снег, вместе с ее станчиком, корзинкой и провизией.

А Луазо пожирал глазами кастрюлю с цып-лятами. Он проговорил:

— Вот хорошо! Сударыня предусмотрительнее нас. Есть люди, умеющие всегда обо всем подумать.

Она повернула к нему голову.

— Не хотите ли, сударь? Нелегко поститься с самого утра.

Он поклонился.

— Да, по совести говоря, не откажусь. На войне, как на войне, не так ли, мадам?

И, окинув взглядом присутствующих, он добавил:

— В подобные минуты так отрадно встретиться с обязательным человеком.

У него имелась газета, которую он и разложил на коленях, чтобы не запачкать брюк; кончиком ножа, всегда находившегося в его кармане, он подцепил куриную ножку, всю подернутую желе, раскромсал ее зубами на части, а потом принялся жевать с таким очевидным удовольствием, что по всей карете пронесся вздох глубокого отчаяния.

Тогда Пышка смиренным и кротким голосом предложила монахиням разделить с нею трапезу. Обе они немедленно согласились и, не поднимая глаз, принялись торопливо есть, шробормотав благодарность. Корнюде тоже не отверг потчевания соседки, и они, вместе с монахинями,

устроили нечто вроде стола из газет, развернутых на коленях.

Рты беспрестанно открывались и закрывались, неистово уплетали, разжевывали, поглощали. Луазо в своем углу трудился во-всю и шопотом уговаривал жену последовать его примеру. Она долго противилась, но потом, почувствовав спазму в кишечнике, сдалась. Тогда муж в изысканных выражениях спросил у «очаровательной спутницы», не позволит ли она предложить маленький кусочек г-же Луазо. Пышка ответила:

— Ну, разумеется, сударь.

И, любезно улыбаясь, протянула кастрюлю.

Когда откупорили первую бутылку бордо, произошло некоторое замешательство: имелся всего лишь один стаканчик. Его стали передавать друг другу, предварительно вытирая. Один только Корнюде, несомненно из любезности, приложился губами к месту, еще влажному от губ соседки.

Тогда-то, сидя среди закусывающих людей и задыхаясь от запаха пищи, граф и графиня де Бревиль, как и супруги Карре-Ламадон, испытали ту гнусную пытку, которая получила название танталовых мук. Внезапно молодая жена фабриканта испустила вздох, заставивший всех обернуться; она побелела, как лежавший в полях снег; глаза ее закрылись, голова склонилась; она была без сознания. Муж ее, страшно перепугавшись, взывал к каждому о помощи. Все растерялись, но старшая из монахинь, поддер-

живая голову больной, поднесла к ее губам стаканчик Пышки и принудила ее проглотить несколько капель вина. Хорошенькая дама пошевелилась, открыла глаза, улыбнулась и умирающим голосом проговорила, что теперь чувствует себя отлично. Но чтобы это больше не повторилось, монахиня заставила ее выпить целый стаканчик бордо, прибавив:

— Это не иначе как от голоду.

— Тогда Пышка, краснея и смущаясь, залепетала, обращаясь к четверем все еще постившимся спутникам:

— Боже, осмелюсь ли предложить господам и дамам...

Она замолчала, боясь оскорбления.

Луазо взял слово:

— Э, право же, в таких случаях все люди — братья и должны помогать другу другу. Ну же, сударыни, без церемоний, принимайте, что там толковать! Нам, может быть, и жилища-то никакого не удастся найти для ночлега. При такой езде мы доедем до Тота не раньше завтрашнего полдня.

Но колебания продолжались, потому что никто не решался взять на себя ответственность за согласие.

Наконец, граф разрешил вопрос. Он повернулся к смущенной толстухе и, приняв величественную барскую осанку, сказал:

— Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, сударыня.

Труден был лишь первый шаг. Но когда Рубикон уже перешли — стесняться стало нечего. Корзина была опустошена. В ней находились, помимо прочего, паштет из печенки, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, крассанские груши, понлевекский сыр, печенье и целая банка маринованных корнишонов и луку, ибо Пышка, как все женщины, обожала острое.

Нельзя было есть припасы этой девушки и не говорить с нею. Поэтому завязалась беседа, сначала несколько сдержанная, но затем все более непринужденная. Пышка держалась превосходно. Г-жи де Бревиль и Карре-Ламадон, обладавшие большим светским опытом, проявили утонченную любезность. Графиня в особенности выказала милый снисходительный тон высокопоставленной дамы, которую не может запачкать общение с кем бы то ни было; она была очаровательна. Но толстая г-жа Луазо, наделенная душою жандарма, оставалась неприступной; она говорила мало, а ела много.

Разговор велся, разумеется, о войне. Рассказывали о жестокостях пруссаков, о проявлениях доблести французов; эти люди, спасавшиеся бегством, воздавали должную дань мужеству оставшихся. Вскоре заговорили о личных обстоятельствах, и Пышка с неподдельным волнением, с той пылкостью излиятий, какую проявляют иногда публичные женщины при выражении своих непосредственных порывов, рассказала, как она уехала из Руана.

— Сначала я думала, что мне можно остаться, — сказала она. — У меня был полон дом припасов, и я предпочла бы лучше кормить нескольких солдат, чем уезжать неведомо куда. Но когда я их, пруссаков этих, увидала, то совладать с собою больше не могла! Все во мне так и переворачивалось от злости, и я проплакала со стыда целый день. Ох, если бы только я была женщиной! Я смотрела на них из окошка, на этих толстых боровов в остроконечных касках, а служанка моя держала меня за руки, чтобы я не побросала им на головы всю свою мебель. Потом несколько человек из них явилось ко мне на постой, и я первому же вцепилась в горло. Задушить их не труднее, чем других! И уж я бы своего прикончила, если бы только меня не оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрыться. Наконец, как только подвернулся случай, я уехала — и вот я тут.

Ее стали усиленно расхваливать. Она выросла во мнении своих спутников, не проявивших подобного задора, и Корнюде, слушая ее, улыбался с одобрением и благосклонностью апостола; так священник слушает набожного человека, восхваляющего бога, ибо длиннородые демократы стали такими же монополистами в делах патриотизма, как люди, носящие сутану, в вопросах веры. Он, в свою очередь, заговорил поучительным тоном, с пафосом, почерпнутым из прокламаций, ежедневно расклеивавшихся на всех стенах, и закончил красноречивой тирадой,

в которой мастерски разделал «подлеца Баденге».<sup>1</sup>

Но Пышка тотчас же возмутилась, потому что была бонапартисткой. Она побагровела, как вишня, и, заикаясь от негодования, проговорила:

— Хотела бы я видеть вас, таких молодчиков, на его месте. Хороши вы были бы, нечего сказать! Ведь вы-то его и предали. Если бы Францией управляли озорники, вроде вас, оставалось бы только бежать из нее вон!

Корнюде сохранял невозмутимость, улыбался презрительно и свысока, но чувствовалось, что сейчас дело дойдет до ругани; тут вмешался граф и не без труда уgomонил разволновавшуюся девушку, властно заявив, что любое искреннее убеждение следует уважать. Между тем графиня и жена фабриканта, питавшие в душе, как и все порядочные люди, бессознательную ненависть к республике и свойственное всем женщинам инстинктивное пристрастие к блистательным и деспотическим правительствам, почувствовали невольное влечение к этой проститутке, которая держалась с таким достоинством и выражала чувства, столь схожие с их собственными.

Корзина опустела. Вдесятером ее очистили без труда и только пожалели, что она не была больше. Разговор тянулся еще некоторое вре-

---

<sup>1</sup> Баденге — насмешливое прозвище, данное Наполеону III, по имени одного каменщика, в одежде которого будущий император бежал в 1846 г. из тюрьмы, куда он был заключен за попытку захвата власти.



мя, хоть и стал менее оживленным после того, как с едой было покончено.

Смеркалось; темнота постепенно густела; холод еще более чувствительный после еды вызывал у Пышки дрожь, несмотря на ее полноту. Тогда г-жа де Бревиль предложила ей свою грелку, в которую уже несколько раз с утра подкладывала угля; та тотчас же приняла предложение, так как ноги у нее совсем замерзли. Г-жи Карре-Ламадон и Луазо отдали свои грелки монахиням.

Кучер зажег фонари. Они освещали ярким светом мглистое облако, колебавшееся над потными крупами коренников, а также снег по краям дороги, который словно развевывался под прыгающими отсветами огней.

Внутри кареты уже ничего нельзя было различить, но вдруг Пышка и Корнюде зашевелились, и г-ну Луазо, который всматривался в темь, показалось, что длиннородый мужчина порывисто отодвинулся, точно получив беззвучный и основательный пинок.

Впереди на дороге показались огоньки. Это было селение Тот. Ехали уже одиннадцать часов, а если добавить сюда два часа, ушедшие на четыре остановки, чтобы покормить лошадей овсом и дать им передохнуть, выходили все тринадцать. Дилижанс въехал в село и остановился у «Торговой гостиницы».

Дверца отворилась. Хорошо знакомый звук заставил всех пассажиров вздрогнуть: послы-

Шался прерывистый лязг сабельных ножен, вполочившихся по земле. И тотчас голос какого-то немца что-то прокричал.

Несмотря на то, что дилижанс стоял, никто из него не выходил; все словно боялись, что при выходе их немедленно убьют. Тогда появился кучер с фонарем в руках и внезапно осветил до самой глубины кареты два ряда испуганных лиц, рты которых были разинуты, а глаза вытаращены от удивления и ужаса.

Рядом с кучером в полосе света стоял немецкий офицер — высокий, чрезвычайно тонкий, белобрысый молодой человек, затянутый в мундир, как девушка в корсет, с плоской лакированной фуражкой, надетой набекрень и придававшей ему сходство с рассыльным из английского отеля.

Его непомерно длинные прямые усы, бесконечно утончавшиеся к концам и завершавшиеся одним-единственным белокурым волоском, столь тонким, что конца его не было видно, словно давили на уголки его рта, оттягивали щеки и придавали губам складку, спадающую вниз.

Он предложил путешественникам вылезть, резко обратившись к ним на французском языке с эльзасским выговором:

— Не угодно ли вылезать, коспота и тамы?

Первыми повиновались две монахини, — с кротостью святых дев, привыкших к послушанию. Затем показались граф с графиней, сопровождаемые фабрикантом и его женой, а потом

Луазо, подталкивавший перед собою свою половину. Этот, спустившись, сказал офицеру, скорее из осторожности, чем из вежливости:

— Здравствуйте, сударь.

Офицер с наглостью всемогущего человека взглянул на него и ничего не ответил.

Пышка и Корнюде, хоть и сидевшие около дверцы, вышли последними, приняв в присутствии врага важный и надменный вид. Толстуха старалась сдерживаться и быть спокойной; демократ трагически тербил свою длинную рыжеватую бороду слегка дрожащей рукою. Они стремились сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый отчасти является представителем своей страны, и оба одинаково возмущались покладистостью своих спутников, причем Пышка старалась показать себя более гордой, чем ее соседки, порядочные женщины, а Корнюде, сознавая, что обязан подавать пример, продолжал всем своим видом подчеркивать ту миссию сопротивления, которую он возложил на себя еще во время перекапывания дорог.

Вошли в просторную кухню постоянного двора, и немец, потребовав подписанное командующим разрешение на выезд, в котором были перечислены имена, приметы и род занятий всех путешественников, долго разглядывал каждого из них, сличая людей с тем, что было о них написано.

Потом он резко сказал: «Карашо» — и исчез.

Все вздохнули. Голод еще давал себя чувствовать, заказали ужин. На приготовление его потребовалось полчаса, и пока две служанки были, видимо, всецело поглощены этим, путешественники разошлись, осматривая помещение. Все комнаты были расположены вдоль длинного коридора, который упирался в стеклянную дверь с неким выразительным номером.

Наконец, стали усаживаться за стол, и тут появился сам хозяин постоялого двора. Это был старый лошадиный барышник, астматический толстяк, в горле которого постоянно свистела, клокотала и певуче переливалась мокрота. Он унаследовал от отца фамилию Фоланви<sup>1</sup>.

Он спросил:

— Кто здесь мадмуазель Элизабет Руссе?

Пышка вздрогнула и обернулась:

— Это я.

— Мадмуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

— Со мной?

— Да, если вы действительно мадмуазель Элизабет Руссе.

Она смутилась, мгновенно подумала и объявила наотрез:

— Возможно; только я не пойду.

Кругом поднялось движение: все рассуждали и выискивали причину такого приказа. Подошел граф.

<sup>1</sup> В оригинале игра слов: фамилия «Follenvie» звучит как «folle envie» — «безумное желание».

— Вы неправы, мадам, потому что ваш отказ может повести к значительным затруднениям не только для вас, но и для всех ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. Это приглашение, несомненно, не представляет никакой опасности; вероятно, упущена какая-нибудь формальность.

Все присоединились к графу, стали упрашивать Пышку, уговаривать, увещевать и, наконец, убедили ее; ведь каждый опасался осложнений, которые мог вызвать столь безрассудный поступок.

В конце концов она сказала:

— Хорошо, я сделаю это только для вас!

Графиня взяла ее за руку:

— И мы так вам благодарны!

Пышка вышла. Ее дожидались, чтобы сесть за стол.

Каждый сокрушался, что вместо этой резкой и вспыльчивой девушки не вызвали его самого, и мысленно подготавливал всякие банальные фразы на случай, если и он будет вызван.

Но минут десять спустя она вернулась багрово-красная, задыхающаяся, раздраженная до крайности. Она бормотала:

— Ах, мерзавец! Вот мерзавец!

Все бросились к ней, чтобы узнать, что случилось, но она не проронила ни слова, а когда граф стал настаивать, ответила с большим достоинством:

— Нет, это вас не касается, я не могу этого сказать.

Тогда все уселись вокруг высокой миски, распространявшей запах капусты. Несмотря на это тревожное происшествие, ужин проходил весело. Сидр был хорош, и чета Луазо, а также монахини пили его из экономии. Остальные заказали вино; Корнюде потребовал пива. У него была своя собственная манера откупоривать бутылку, пенить напиток, разглядывать его, наклоняя стакан, который он затем поднимал к лампе, чтобы лучше рассмотреть цвет. Когда он пил, его длинная борода, принявшая с течением времени оттенок любимого им напитка, казалось, трепетала от нежности, глаза скашивались, чтобы не терять из виду кружку, и у него был такой вид, будто он выполняет то единственное призвание, ради которого и родился на свет. В уме его словно устанавливалось некоторое соответствие и как бы сродство между двумя великими страстями, заполнявшими всю его жизнь: между Светлым Элем и Революцией; и, несомненно, он не мог вкушать одного, не думая о другой.

Г-н Фоланви с женою ели, сидя в самом конце стола. У мужа, пыхтевшего, как поломанный локомотив, так kloкотало в груди, что во время еды он не мог разговаривать; зато жена его не умолкала ни на минуту. Она рассказала все свои впечатления от прихода пруссаков, описала, что они делали, что говорили; она ненавидела их, во-первых, потому, что они стоили ей немало денег, а также потому, что у нее было два

сына в армии. Обращалась она преимущественно к графине, так как ей лестно было разговаривать с благородной дамой.

Рассказывая что-нибудь щекотливое, она понижала голос, а муж время от времени прерывал ее:

— Лучше бы тебе помолчать, мадам Фоланви.

Но, не обращая на него никакого внимания, она продолжала:

— Да, сударыня, люди эти только тем и заняты, что едят картошку со свининой, а потом свинину с картошкой. И не думайте, что они чистоплотны. Вовсе нет! Они гадят повсюду, извините меня за такое выражение. А посмотрели бы вы, как они по целым часам, по целым дням проделывают свои упражнения: соберутся все в поле — и марш вперед, марш назад, поворот туда, поворот сюда. Хоть бы они землю пахали у себя на родине или дороги бы прокладывали! Так вот нет же, сударыня, от военных этих никто проку не видит! И зачем это несчастный народ кормит их, раз они только тому и учатся, как людей убивать? Я старуха необразованная, что и говорить, а когда посмотрю, как они изводят себя топтаньем с утра до ночи, всегда думаю: «Когда существуют люди, которые делают всякие открытия, чтобы принести пользу, к чему тогда существуют такие, которые из кожи вон лезут, чтобы только стать зловредными?» Право, ну не мерзость ли убивать людей — будь они пруссаки, или англичане, или поляки, или

французы? Если мстишь кому-нибудь, кто тебя обидел, — это плохо, потому что тебя за это наказывают; а когда сыновей наших уничтожают, как дичь из ружей, выходит, что это хорошо, — раз тому, кто уничтожит их побольше, дают ордена! Нет, знаете, мне это совсем невдомек.

Корнюде громко заявил:

— Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг — когда защищают родину.

Старуха склонила голову:

— Да, когда защищают — другое дело; но не лучше бы перебить всех королей, которые устраивают это ради потехи?

Взор Корнюде воспламенился.

— Bravo, гражданка! — воскликнул он.

Г-н Карре-Ламадон глубоко задумался. Хоть он и преклонялся перед знаменитыми полководцами, здравый смысл этой крестьянки заставил его призадуматься над тем, какое благосостояние принесли бы стране столько незанятых и, следовательно, разорительных рук, столько бесплодно применяемых сил, если бы использовать их для великих промышленных работ, на завершение которых потребуются столетия.

А Луазо встал с места, подсел к трактирщику и шопотом заговорил с ним. Толстяк хохотал, кашлял, отхаркивался; его толстый живот радостно подпрыгивал от шуток соседа, и он тут же закупил у Луазо шесть бочек бордосского в весне, когда пруссаки уйдут.



Едва кончился ужин, как все почувствовали себя разбитыми от усталости и отправились спать.

Между тем Луазо, успевший сделать кое-какие наблюдения, уложил в постель свою супругу, а сам принялся то глазом, то ухом прикладываться к замочной скважине, чтобы, как он выражался, проникнуть в «тайны коридора».

Около часа спустя он услышал шорох, быстро посмотрел и увидел Пышку, которая казалась еще пышнее в голубом кашемировом халате, окаймленном белыми кружевами. Она держала подсвечник и направлялась к многозначительному номеру в конце коридора. Но где-то рядом приоткрылась другая дверь, и когда Пышка через несколько минут пошла обратно, за нею последовал Корнюде, в подтяжках. Они шепотом говорили, потом остановились. Повидимому, Пышка решительно защищала вход в свою комнату. Луазо, к сожалению, не разобрал слов, но подконец, когда они повысили голос, ему удалось уловить несколько фраз. Корнюде горячо настаивал. Он говорил:

— Послушайте, это глупо; ну, что вам стоит?

Она казалась возмущенной и отвечала.

— Нет, дорогой мой, бывают моменты, когда такие вещи недопустимы; вдобавок здесь это было бы просто срамом.

Он, повидимому, не понял и спросил — почему. Тогда она окончательно рассердилась и еще более повысила голос:

— Почему? Вы не понимаете, почему? А если в доме пруссаки и, может быть, даже в соседней комнате?

Он умолк. Эта патриотическая стыдливость шлюхи, не позволяющей ласкать себя поблизости от неприятеля, повидимому, пробудила в его сердце ослабнувшее чувство собственного достоинства, потому что он только поцеловал ее и неслышно направился к своей двери.

Распаленный Луазо оторвался от скважины, сделал антраша, надел ночной колпак, приподнял одеяло, под которым покоился жесткий остов его подруги, и, разбудив ее поцелуем, прошептал:

— Ты меня любишь, милочка?

После этого весь дом погрузился в безмолвие. Но вскоре где-то в неопределенном направлении, быть может в погребе, а быть может на чердаке, послышался мощный, однообразный, равномерный храп, глухой и протяжный звук, словно содрогался паровой котел. Это спал г-н Фоланви.

Так как решено было выехать на другой день в восемь часов утра — к этому времени все собрались в кухне; но карета, брезент которой покрылся снежной пеленой, одиноко высилась среди двора, без лошадей и без кучера. Тщетно искали его в конюшне, на сеновале, в сарае. Тогда все мужчины решили обследовать местность и вышли. Они очутились на площади, в глубине которой находилась церковь, а по бо-

кам — два ряда низеньких домиков, где виднелись прусские солдаты. Первый, которого они заметили, чистил картошку. Второй, подалее, мыл мастерскую парикмахера. Третий, заросший бородой до самых глаз, целовал плачущего мальчугана и качал его на коленях, чтобы успокоить; толстые крестьянки, мужья которых были в «воюющей армии», знаками указывали своим послушным победителям работу, которую предстояло сделать: нарубить дров, засыпать суп, намолоть кофе; один из них даже стирал белье своей хозяйки, совсем немощной старухи.

Удивленный граф обратился с вопросом к причетнику, который вышел из церковного дома. Старая церковная крыса ответила ему:

— Ну, эти не злые; это, говорят, не пруссаки. Они из более дальних мест, не знаю только, откуда, и у всех у них на родине остались жены и дети; им-то война не в забаву! Я уверен, что и там плачут по мужчинам, а нужда от всего этого будет там не хуже нашей. Здесь пока что очень жаловаться не приходится, потому что они дурного не делают и работают, словно у себя дома. Что ни говорите, сударь, бедняки должны помогать друг другу... Войну затевают богатые.

Корнюде, возмущенный сердечным согласием, установившимся между победителями и побежденными, ушел, предпочитая отсиживаться в трактире. Луазо изрек для потехи:

— Они содействуют размножению.

Господин Карре-Ламадон изрек важно:

— Они противодействуют уничтожению.

Однако кучер все не отыскивался. Наконец его нашли в деревенском кабаке, где он побратски сидел за столиком с офицерским денщиком. Граф спросил:

— Разве вам не приказывали запрячь к восьми часам?

— Приказывали, да потом приказали другое.

— Что такое?

— Вовсе не запрягать.

— Кто же вам дал такой приказ?

— Как кто? Прусский комендант.

— Почему?

— А я почем знаю? Спросите у него. Не велено запрягать — я и не запрягаю. Вот и все.

— Он сам вам это сказал?

— Нет, сударь. Приказ мне передал от его имени трактирщик.

— Когда же это было?

— Вчера вечером, перед тем как спать ложиться.

Трое пассажиров вернулись в большой тревоге

Вызвали г-на Фоланви, но служанка ответила, что из-за астмы хозяин никогда не встает раньше десяти. Он даже прямо запретил будить себя раньше, разве что в случае пожара.

Хотели повидаться с офицером, но это оказалось совершенно невозможным, хоть он и жил тут же в трактире; один только г-н Фоланви имел право говорить с ним по гражданским делам. Тогда решили подождать. Женщины разо-

шлись по своим комнатам и занялись разными пустяками.

Корнюде устроился в кухне у высокого очага, где пылал яркий огонь. Он велел принести себе сюда столик, бутылку пива и вынул свою трубку, которая пользовалась среди демократов почти таким же уважением, как он сам, словно, служа Корнюде, она служила самой родине. То была превосходная пенковая трубка, чудесно обкуренная, столь же черная, как и зубы ее владельца, но душистая, изогнутая, блестящая, привычная его руке и дополнявшая его облик. И он замер, устремляя взгляд то на пламя очага, то на пену, венчавшую пивную кружку, и с удовлетворением запуская после каждого глотка худые длинные пальцы в жирные длинные волосы и обсасывая бахрому пены у усов.

Луазо под предлогом поразмять ноги отправился по местным розничным торговцам с предложением своего вина. Граф и фабрикант завели разговор о политике. Они прозревали будущность Франции. Один уповал на Орлеанов, другой на неведомого спасителя, на какого-нибудь героя, который объявится в минуту всеобщего отчаяния: на какого-нибудь дю Геклена<sup>1</sup>, на Жанну д'Арк — почем знать? Или на нового Наполеона I? Ах, если бы императорский принц<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Дю Геклен — знаменитый французский полководец XIV века.

<sup>2</sup> Императорский принц — имеется в виду сын Наполеона III, Эжен-Луи (1856—1879).

не был так юн! Слушая их, Корнюде улыбался с видом человека, которому ведомы пути судеб. Его трубка благоухала на всю кухню.

Когда пробило десять часов, явился г-н Фоланви. Все бросились его расспрашивать; но он смог лишь два — три раза, без единого изменения, повторить следующее:

— Офицер сказал мне так: «Господин Фоланви, запретите завтра запрягать карету для этих пассажиров. Я не хочу, чтобы они уехали, пока я не дам им разрешения. Поняли? Все».

Тогда захотели повидаться с офицером. Граф послал ему свою визитную карточку, на которой г-н Карре-Ламадон добавил свою фамилию и все свои звания.

Пруссак приказал ответить, что сможет принять этих двух господ после того как позавтракает, то есть около часу.

Дамы опять появились, и, несмотря на беспокойство, все путешественники немного перекусили.

Пышка казалась больной и крайне взволнованной.

Когда кончали кофе, за графом и фабрикантом явился денщик.

Луазо присоединился к ним; попробовали завербовать и Корнюде, чтобы придать своему выступлению больше торжественности, но он гордо заявил, что с немцами никогда ни в какие сношения не входит, и, потребовав вторую бутылку пива, снова уселся у очага.

Трое мужчин поднялись наверх и были введены в лучшую комнату трактира, где офицер принял их, развалясь в кресле, задрав ноги на камин, покуривая длинную фарфоровую трубку и кутаясь в халат огненного цвета, несомненно украденный в покинутом доме какого-нибудь буржуа, не отличавшегося вкусом. Он не встал, не поздоровался с ними, не посмотрел на них. Он выказывал великолепный образчик хамства, свойственного победоносному воину.

По прошествии некоторого времени он, наконец, сказал:

— Што фи хотите?

Граф взял слово:

— Мы желали бы уехать, сударь.

— Нет.

— Осмелюсь ли узнать причину этого отказа?

— Потому што мне не уютно.

— Позволю себе, сударь, почтительнейше заметить, что ваш командующий дал нам разрешение на проезд до Дьеппа, и мне кажется, мы не сделали ничего такого, что могло бы вызвать такую строгость с вашей стороны.

— Мне не уютно... это фсе... фи можете итти.

Все трое поклонились и вышли.

Послеполуденные часы прошли печально. Каприз немца был совершенно непонятен; каждому приходили в голову самые невероятные мысли. Все сидели в кухне и без конца обсуждали положение, строя всякие неправдоподобные догадки. Быть может их хотят оставить в качестве

заложников? Но с какой целью? Или увести как пленных? Или, вернее, потребовать с них значительный выкуп? При этой мысли их обуял панический ужас. Больше всего перепугались самые богатые; они уже представляли себе, как будут вынуждены ради спасения жизни высыпать целые мешки золота в руки этого наглого солдата. Они изо всех сил старались выдумать какую-нибудь правдоподобную ложь, скрыть свое богатство, выдать себя за бедных, очень бедных людей. Луазо снял с себя часовую цепочку и убрал ее в карман. Надвигавшаяся темнота усилила страхи. Зажгли лампу, а так как до обеда оставалось еще часа два, г-жа Луазо предложила сыграть партию в тридцать одно. Это немного развлечет. Предложение было принято. Сам Корнюде, погасив из вежливости трубку, принял участие в игре.

Граф стасовал карты, сдал, и у Пышки сразу же оказалось тридцать одно очко; интерес к игре заглушил опасения, тревожившие все умы. Но Корнюде заметил, что чета Луазо стакнулась и плутует.

Когда стали садиться обедать, снова появился г-н Фоланви и хрипящим голосом произнес:

— Прусский офицер велел спросить у мадам-муазель Элизабет Руссе, не изменила ли она еще своего решения?

Пышка замерла на месте, вся побледнев; потом она внезапно побагровела, и ее охватил та-



кой приступ злости, что она не могла говорить. Наконец, ее взорвало:

— Скажите этой гадине, этому пакостнику, этой прусской сволочи, что я ни за что не соглашусь; слышите — ни за что, ни за что, ни за что!

Толстяк-трактирщик вышел. Тогда все окружили Пышку, стали ее расспрашивать, уговаривали поведать тайну своей встречи с офицером. Сначала она упиралась, но отчаяние взяло верх:

— Чего он хочет?.. Чего хочет? Он хочет спать со мной! — выкрикнула она.

Никого не задело это выражение — до такой степени все были возмущены. Корнюде разбил кружку, яростно поставив ее на стол. Поднялся единый вопль, осуждающий этого подлого солдафона, все дышали гневом, все объединились для сопротивления, словно и от каждого из них просили частицу той жертвы, которой требовали от нее. Граф с отвращением заявил, что эти люди ведут себя наподобие древних варваров. Женщины в особенности выражали Пышке горячее и ласковое сочувствие. Монахини, вышедшие только к столу, склонили головы и молчали.

Когда первый приступ бешенства улегся, все-таки пообедали; однако говорили мало: все размышляли.

Дамы рано разошлись по комнатам, а мужчины, покуривая, затеяли игру в экарте и пригласили принять в ней участие г-на Фоланви, намереваясь искусно выпросить у него, какие

средства следует применить, чтобы преодолеть сопротивление офицера. Но трактирщик думал лишь о картах, ничего не слушал, ничего не отвечал, а только твердил:

— Давайте же играть, господа, давайте играть!

Его внимание было так поглощено игрою, что он забывал даже плевать, отчего в груди его звучало порою протяжное гудение органа. Его свистящие легкие воспроизводили всю гамму астмы, начиная с торжественных басовых звуков и кончая резким хрипом молодого петуха, пробующего петь.

Он даже не захотел идти спать, когда его жена, падавшая от усталости, пришла за ним. И она удалилась одна, потому что вставала всегда спозаранку, с восходом солнца, в то время как муж ее был полунощник, всегда готовый просидеть с приятелями до самого утра. Он крикнул ей:

«Поставь мне гоголь-моголь на печку!» — и продолжал игру. Когда стало ясно, что ничего выпытать у него не удастся, решили, что пора спать, и все разбрелись по своим кроватям.

На другой день встали опять-таки довольно рано, со смутной надеждой, с усилившимся желанием уехать и страхась, что придется провести еще день в этом отвратительном трактире.

Увы! лошади стояли в конюшне, кучера не видно было. От нечего делать все стали бродить вокруг кареты.

Завтрак прошел печально; чувствовалось некоторое охлаждение к Пышке, потому что под влиянием ночи-советчицы взгляды несколько изменились. Теперь все почти досадовало на девушку за то, что она тайно не встретилась с пруссаком, чтобы устроить приятный сюрприз своим спутникам к их пробуждению. Что могло быть проще? Да и кто бы об этом узнал? Для приличия она могла бы сказать офицеру, что делает это из жалости к своим отчаявшимся спутникам. Для нее же это имеет так мало значения!

Но никто еще не сознавался в подобных мыслях.

После полудня, когда всех охватила смертельная скука, граф предложил совершить прогулку в окрестности. Каждый тщательно закутался, и маленькое общество ушло, за исключением Корнюде, предпочитавшего сидеть у огонька, да монахинь, которые проводили дни в церкви или у кюре.

Холод, усиливавшийся день ото дня, жестоко пощипывал нос и уши; ноги стали так чувствительны, что каждый шаг являлся мукой; а когда дошли до полей, они показались такими ужасающе зловещими в своей безграничной близине, что у всех сразу похолодело в душе и сжалось сердце и все повернули обратно.

Четыре женщины шли впереди, а за ними, немного поодаль, следовали трое мужчин.

Луазо, прекрасно понимавший положение,

спросил вдруг, долго ли еще эта «потаскуха» продержит их в подобной трущобе. Граф, неизменно учтивый, сказал, что нельзя требовать от женщины столь тягостной жертвы, что жертва эта должна быть добровольной. Г-н Карре-Ламадон заметил, что если французы предпримут, как о том говорили, контрнаступление через Дьепп, то встреча состоится не иначе, как в Тоте. Это соображение встревожило обоих его собеседников.

— А что если убежать пешком? — промолвил Луазо.

Граф пожал плечами:

— Да что вы! По такому снегу, с женами! Кроме того, за нами тотчас же пошлют погоню, поймают через десять минут и отдадут, как пленников, на произвол солдат.

Это было верно. Все умолкли.

Дамы разговаривали о нарядах; но некоторая принужденность, казалось, разъединила их.

Вдруг в конце улицы показался офицер. На фоне снега, замыкавшего горизонт, вырисовывалась его высокая фигура, напоминавшая осу в мундире; он шагал, расставляя ноги, особенной походкой военного, старающегося не запачкать тщательно начищенных сапог.

Поровнявшись с дамами, он поклонился им и презрительно взглянул на мужчин, у которых, впрочем, хватило собственного достоинства не снять шляп, хотя Луазо и приготовился было приподнять свою.

Пышка покраснела до ушей, а три замужних женщины почувствовали себя глубоко униженными от того, что этот солдафон встретил их в обществе девушки, с которой он так мало стесняется.

Заговорили о нем, о его внешности, о его лице. Г-жа Карре-Ламадон, знавшая многих офицеров и понимавшая в них толк, находила, что этот вовсе не так уж плох; она даже пожалела, что он не француз, так как из него вышел бы прекрасный гусар, который, несомненно, сводил бы с ума всех женщин.

Вернувшись домой, уж решительно не знали, чем заняться. Обменялись даже колкостями по самым незначительным поводам. Молчаливый обед длился недолго, и все пошли спать, надеясь убить время сном.

Когда на другой день путешественники сошли вниз, у всех были усталые лица, а на сердце досада. Женщины еле говорили с Пышкой.

Прозвучал колокол. Звонили к крестинам. У толстухи был ребенок, который воспитывался в Ивето у крестьян. Она не видалась с ним и по разу в год, никогда о нем не думала, но мысль о младенце, которого собираются крестить, вызвала в ее сердце внезапный неистовый прилив нежности к собственному ребенку, и ей непременно захотелось присутствовать при обряде.

Едва она ушла, все переглянулись, потом сдвинули стулья поближе друг к другу, так как чувствовали, что надо же, в конце концов, что-

нибудь решить. Луазо осенило: он считал, что нужно предложить офицеру задержать одну Пышку и отпустить остальных.

Г-н Фоланви согласился выполнить поручение, но почти тотчас же вернулся вниз. Немец, знавший человеческую натуру, выставил его за дверь. Он утверждал, что будет держать всех до той поры, пока его желание не будет удовлетворено.

Тогда плебейская натура г-жи Луазо развернулась во всю ширь:

— Не сидеть же нам все-таки здесь до старости. Раз эта пакостница занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, я считаю, что она не имеет никакого права отказывать кому бы то ни было. Скажите на милость, в Руане она путалась с кем попало, даже с кучерами! Да, сударыня, с кучером префектуры! Я-то отлично знаю, — он вино в нашем заведении покупает. А теперь, когда нужно выволить нас из затруднительного положения, эта сопливая девка разыгрывает из себя недотрогу!.. Я считаю, что офицер ведет себя очень хорошо. Быть может, он уже давно терпит лишение, и он, конечно, предпочел бы кого-нибудь из нас троих. Так нет же, он довольствуется тою, которая принадлежит всем. Он уважает замужних женщин. Подумайте только, ведь он здесь хозяин. Ему достаточно было бы сказать: «Я желаю» — и он при помощи солдат мог бы силой овладеть нами.

Обе другие женщины слегка вздрогнули. Глаза хорошенькой г-жи Карре-Ламадон блестели, и она была несколько бледна, словно уже чувствовала, как офицер силой овладевает ею.

Мужчины, рассуждавшие в сторонке, подошли к дамам. Рассвирепевший Луазо готов был выдать врагу «эту паршивку», связав ее по рукам и ногам. Но граф, потомок трех поколений посланников и сам по внешности напоминавший дипломата, являлся сторонником искусного хода.

— Надо ее переубедить, — сказал он.

Тогда составили заговор.

Женщины пододвинулись поближе, голоса понизились, разговор стал общим, каждый высказывал свое мнение. Впрочем, все шло очень прилично. Дамы в особенности удачно находили деликатные выражения, прелестные утонченные обороты для обозначения самых непристойных вещей. Посторонний ничего бы здесь не понял, до того осторожно подбирались слова. Но так как легкий слой стыдливости, броней которого защищена всякая светская женщина, покрывает ее лишь снаружи, все они наслаждались этим игривым приключением, безумно забавлялись в душе, чувствуя себя в своей сфере, обдывая это любовное дельце с вожделением повара-лакомки, приготовляющего ужин для другого.

Веселость невольно возвращалась, — такую, в конце концов, смешною оказывалась эта история. Граф вставил несколько довольно рискованных

шуток, но сделал это так удачно, что вызвал у всех улыбку. В свою очередь и Луазо отпустил несколько еще более крутых вольностей, которыми никто не возмутился; над всеми властвовала мысль, грубо выраженная его женою: «Раз у этой девки такое ремесло, с какой стати ей отказывать тому или другому?» Миленькая г-жа Карре-Ламадон, казалось, даже думала, что на ее месте она скорее отказала бы кому-нибудь другому, чем этому.

Заговорщики долго обсуждали осаду, словно речь шла о крепости. Каждый взял на себя определенную роль, условился об аргументах, к которым он прибегнет, о маневрах, которые ему предстоит осуществить. Выработали план атак, хитрые уловки, которые будут пущены в ход, внезапные приступы, которые принудят эту живую крепость принять бой в своих собственных стенах. Между тем Корнюде попрежнему был в стороне и совершенно не участвовал в этом замысле.

Общее внимание было настолько поглощено этой затеей, что никто не слышал, как вошла Пышка. Но граф прошептал легкое: «Шш!» — и все подняли глаза. Она стояла рядом. Все вдруг смолкли и, чувствуя некоторое замешательство, не решались сразу заговорить с нею. Графиня, более других искусенная в салонном двуличии, спросила ее:

— Что ж, интересные были крестины?



Толстуха, еще растроганная, описала все: и лица, и движения, даже самую церковь. Она добавила:

— Так хорошо иногда помолиться.

До завтрака дамы ограничивались предупредительным отношением к ней, рассчитывая усилить ее доверчивость и послушание их советам.

Но как только сели за стол, начались атаки. Сначала просто зашел общий разговор о самоотречении. Приводились примеры из древности о Юдифи и Олоферне, затем ни с того ни с сего — о Лукреции и Сексте<sup>1</sup>, о Клеопатре, которая принимала на свое ложе всех вражеских военачальников и приводила их к рабской покорности. Тут развернулась причудливая история, расцветшая в воображении этих миллионеро-невежд, согласно которой римские гражданки отправлялись в Капую, чтобы убаюкивать в своих объятиях Ганнибала, а вместе с ним — его полководцев и целые фаланги наемников. Упоминалось о всех женщинах, которые преградили путь завоевателям, сделав свое тело полем битвы, орудием господства, оружием, которые своими героическими ласками покорили отвратительные или ненавистные существа и принесли свое целомудрие в жертву мести и самоотречению.

---

<sup>1</sup> По древнеримскому преданию, римская аристократка Лукреция лишила себя жизни после того, как ее обесчестил царский сын Секст.

Заговорили даже в туманных выражениях об одной англичанке из аристократического рода, привившей себе отвратительную заразную болезнь, чтобы передать ее Бонапарту, которого чудесным образом спасла внезапная слабость, случившаяся с ним в минуту рокового свидания.

И все это рассказывалось в приличной и сдержанной форме, где лишь изредка прорывался деланный восторг, рассчитанный на то, чтобы поощрить соревнование.

В конце концов, можно было подумать, что единственное назначение женщины на земле заключается в вечном самопожертвовании, в беспрестанном подчинении прихотям солдати.

Монахини, казалось, вовсе не слышали разговора и погрузились в глубокое раздумье; Пышка молчала.

В течение всего времени после завтрака ей дали поразмыслить. Но вместо того, чтобы обращаться к ней, как раньше, со словом «мадам», ей говорили просто «мадмуазель», хотя никто не знал хорошенько, почему именно; в этом как бы проявлялось желание свести ее на ступеньку ниже в том уважении, которого она добилась, и дать ей почувствовать постыдность ее ремесла.

Как только подали суп, опять появился г-н Фоланви и повторил вчерашнюю фразу:

— Прусский офицер спрашивает, не изменила ли мадмуазель Элизабет Руссе своего решения.

Пышка сухо ответила:

— Нет, сударь.

Но за обедом коалиция стала слабеть. Луазо сказал три неудачных фразы. Каждый из кожи лез, стараясь выдумать новый пример и ничего не находя, как вдруг графиня, быть может не предумышленно, а просто чувствуя смутное желание почтить религию, обратилась к старшей монахине с вопросом о великих примерах из жизни святых. Ведь многие святые совершали поступки, которые в наших глазах явились бы преступлением; но церковь легко прощает эти проступки, если они совершены во славу Божию или на пользу ближнему. Это был могучий довод; графиня воспользовалась им. Тогда, то ли благодаря молчаливому пониманию, завуалированной услужливости, которыми отличается всякий, носящий духовное платье, то ли просто благодаря счастливому неразумию, спасительной глупости, старая монахиня оказала заговору огромную поддержку. Ее считали застенчивой — она же выказала себя смелой, речистой, резкой. Ее не смущали казуистические колебания; учение ее было подобно железному посоху; вера ее была непреклонна; совесть ее не знала сомнений. Она считала жертвоприношение Авраама вполне естественным, ибо сама немедленно убила бы и мать и отца, получив указание свыше; никакой поступок, по ее мнению, не может вызвать неудовольствие Господа, если похвально намерение, руководившее этим поступком. Графиня, желая как можно лучше использовать духовный авторитет своей нежданной сообщни-

цы, заставила ее изложить наставительное толкование нравственной аксиомы: «Цель оправдывает средства».

Она стала расспрашивать ее:

— Итак, сестра, вы считаете, что бог приемлет все пути и прощает проступок, если повод к нему чист?

— Как можно сомневаться в этом, сударыня? Нередко поступок, сам по себе достойный осуждения, становится похвальным благодаря намерению, которое его вдохновляет.

И они продолжали в этом духе, разбирая волю господя, предвидя его решения, приписывая ему вмешательство в дела, которые, право, его совсем не касаются.

Все это говорилось издалека, ловко, сдержанно. Но каждое слово святой девы в монашеском чепце пробивало брешь в негодующем сопротивлении куртизанки. Потом разговор несколько отклонился в сторону, и женщина с четками заговорила о монастырях своего ордена, о своей настоятельнице, о самой себе и о своей любезной соседке, возлюбленной сестре Сен-Нисефоре. Их вызвали в Гарр, чтобы ухаживать в госпиталях за сотнями солдат, больных оспой. Она рассказывала об этих несчастных, подробно описывала болезнь. И в то время как по прихоти этого пруссака их задерживают в пути, может умереть не мало французов, которых они, быть может, спасли бы! Лечить военных было ее специальностью: она побывала в Крыму, в

Италии, в Австрии; повествуя об этих кампаниях, она вдруг выказала себя одною из тех лихих и воинственных монахинь, которые словно для того и созданы, чтобы следовать за войском, подбирать раненых в водовороте сражения и лучше любого начальника единым словом укрощать непокорную солдатню; это была истинная сестрица Рантанплан, и ее изуродованное, изрытое бесчисленными ямками лицо являлось как бы образом разрушений, причиняемых войной.

После нее никто не проронил ни слова — таким превосходным казался произведенный ею эффект.

Тотчас же после еды все поспешили разойтись по комнатам и вышли лишь на другое утро, довольно поздно.

Завтрак прошел спокойно. Семенам, посеянным накануне, было предоставлено прорасти и дать плоды.

После полудня графиня предложила совершить прогулку; тогда граф, как и было уговорено, взял Пышку под руку и пошел с нею, немного отстав от остальных.

Он говорил с нею тем фамильярным, отеческим тоном, немного свысока, как солидные мужчины разговаривают с публичными девками, называл ее «мое дорогое дитя», обращался к ней с высот своего социального положения, своей безусловной порядочности. Он сразу же коснулся самой сути дела:

— Итак, вы предпочитаете держать нас здесь

и подвергать вместе с собою всевозможным насилиям, которые последуют в случае поражения прусской армии, чем проявить ту снисходительность, которую вы в своей жизни проявляли столько раз?

Пышка ничего не ответила.

Он брал ее ласкою, доводами, чувствительностью. Он сумел держаться «графом», проявляя в то же время, когда было нужно, галантность, рассыпаясь в комплиментах, очаровывая своей любезностью. Он превозносил услугу, которую она могла бы оказать им, говорил об их признательности, а потом вдруг весело обратился к ней на «ты».

— И знаешь, дорогая, он мог бы похвастаться, что отведал хорошенькой девушки, каких не найти у них на родине.

Пышка ничего не ответила и догнала остальных.

Вернувшись домой, она сразу же поднялась к себе наверх и больше не выходила. Беспокойство достигло крайних пределов. На что она решится? Если она будет упорствовать — беда!

Настал час обеда; ее тщетно дожидались. Наконец, явился г-н Фоланви и объявил, что мадам-муазель Руссе не совсем здорова и что можно садиться за стол без нее. Все насторожились. Граф подошел к трактирщику и шопотом спросил:

— Дело сделано?

— Да.

Из приличия он ничего не сказал своим слугам, а только слегка кивнул им головой. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения, и веселость засияла на всех лицах. Луазо закричал:

— Тра-ля-ля-ля-ля! Плачу за шампанское, если таковое имеется в сем заведении.

И у г-жи Луазо сжалось сердце, когда хозяин вернулся с четырьмя бутылками в руках. Внезапно все сделались общительными и шумливыми; сердца наполнились задорным весельем. Граф, казалось, впервые заметил, что г-жа Карре-Ламадон прелестна; фабрикант начал ухаживать за графиней. Разговор сделался оживленным, жизнерадостным, полным остроумия.

Вдруг Луазо сделал испуганное лицо и, подняв руки вверх, завопил:

— Тише!

Все смолкли в удивлении и даже в испуге. Тогда он прислушался, жестом обеих рук призвал к молчанию, поднял глаза к потолку, снова прислушался и проговорил своим обычным голосом.

— Успокойтесь, все в порядке.

Никто не решался показать, что понял, о чем идет речь, но вскоре улыбка мелькнула на всех лицах.

Через четверть часа он повторил ту же шутку и в течение вечера повторял ее несколько раз; он делал вид, будто обращается к кому-то

на верхнем этаже, и давал ему двусмысленные советы, почерпнутые из запасов своего коммивояжерского остроумия. Порою он напускал на себя грусть и вздыхал: «Бедная девушка!» — или разъяренно цедил сквозь зубы: «Ах, негодяй пруссак!» Несколько раз, когда, казалось, никто уже не думал об этом, он начинал вопить дрожащим голосом: «Довольно! Довольно!» — и добавлял, словно говоря с самим собою:

— Лишь бы нам снова увидеть ее; лишь бы негодяй этот не уморил ее до смерти!

Хоть шутки эти и были самого удручающего свойства, они забавляли общество и никого не коробили, потому что и негодование, подобно всему остальному, зависит от окружающей среды, атмосфера же, постепенно создававшаяся в трактире, была насыщена игривыми мыслями.

За десертом сами женщины стали делать остроумные и сдержанные намеки. Глаза у всех разгорелись; выпито было много. Граф, сохранявший величественный вид даже в тех случаях, когда он отступал от своих обычных правил, провел сравнение между окончанием зимовки на полюсе и радостью людей, которые, потерпев кораблекрушение, видят, что им открывается путь на юг; слова его имели большой успех.

Расходившийся Луазо встал с бокалом в руке:

— Пью за наше освобождение!

Все поднялись, громко поздравляя друг друга. Даже монахини поддались уговору дам и согласились пригубить пенистого вина, которого они



никогда не пробовали. Они объявили, что оно похоже на шипучий лимонад, только все-таки вкуснее его.

Луазо подвел итоги:

— Какая досада, что нет пианино, а то бы кадрили отхватить!

Корнюде не проронил ни слова, не сделал ни одного движения; он, казалось, был даже погружен в весьма мрачные раздумья и изредка неистово дергал свою длинную бороду, словно желая, чтобы она еще больше отросла. Наконец, около полуночи, когда стали расходиться, Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком:

— Что это вы невеселы сегодня? Что это все молчите, гражданин?

Корнюде порывисто поднял голову и, окинув всех горящим и страшным взглядом, ответил:

— Знайте, что все вы сделали подлость!

Он встал, дошел до двери, еще раз повторил: «Подлость!» — и скрылся.

Сначала всех обдало холодом. Озадаченный Луазо стоял, разиня рот; потом к нему вернулась самоуверенность, и он вдруг захохотал, приговаривая:

— Зелен виноград, милый мой, слишком зелен!

Так как никто не понимал, в чем дело, он поведал о «тайнах коридора». Последовал взрыв неистового веселья. Дамы веселились, как без-

умные. Граф и г-н Карре-Ламадон хохотали до слез. Им не верилось.

— Как? Вы убеждены в этом? Он хотел...

— Да говорю же вам, что сам видел.

— И она отказала?..

— Потому что пруссак находился в соседней комнате.

— Быть не может!

— Клянусь вам!

Граф задышался. Фабрикант обеими руками схватился за живот. Луазо продолжал:

— Понятно, что сегодня вечером ему совсем, совсем не до смеха.

И все трое снова принимались хохотать, до упаду, до удушья.

На этом разошлись. Однако г-жа Луазо, которая была из породы язв, ложась спать, заметила мужу, что «эта злюка», маленькая Карре-Ламадон, весь вечер смеялась через силу.

— Знаешь, когда дело касается мундира, носит ли его француз или пруссак — женщинам, право, совершенно все равно. Жалкие твари, прости господи!

И всю ночь во мраке коридора проносились, словно дрожь, слабые, чуть слышные шорохи, подобные дуновеньям, легкие касанья босых ног, неуловимые потрескивания. Постояльцы заснули, несомненно, очень поздно, потому что под дверями долго скользили тонкие полоски света. От шампанского это порою бывает; оно, говорят, тревожит сон.

На другой день снега сияли под ярким зимним солнцем. Запряженный, наконец, дилижанс дождался у ворот, а тем временем целая стая белых голубей, пыжащихся в своем густом оперении, розовоглазых, с черными точками зрачков, важно разгуливала меж ног шестерки лошадей и, разбрасывая лапками дымящийся навоз, искала в нем пропитания.

Кучер, укутавшись в овчину, покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно заворачивали провизию на всю остальную дорогу.

Ждали только Пышку. Наконец, она появилась.

Она казалась немного смущенной, застенчивой и робко подошла к своим спутникам, которые сразу, как один, отвернулись, делая вид, будто не заметили ее. Граф с достоинством взял жену под руку и отвел в сторону, чтобы удалить ее от нечистого соприкосновения.

Толстуха в изумлении остановилась, потом, собравшись со всем мужеством, подошла к жене фабриканта и смиренно прошептала:

— Здравствуйте, сударыня.

Та лишь слегка и дерзко кивнула головой, сопровождая кивок взглядом оскорбленной добродетели. Все делали вид, что очень заняты, и держались как можно дальше от Пышки, точно в юбках своих она принесла заразу. Затем все бросились к карете, куда она вошла последней и молча уселась на то же место, которое занимала в течение первой части пути.

Ее, казалось, больше не замечали, больше не узнавали; только г-жа Луазо, негодуя, посмотрев на нее издали, сказала вполголоса мужу:

— Какое счастье, что я сижу не рядом с нею.

Тяжелая карета встряхнулась, и путешествие возобновилось.

Сначала все молчали. Пышка не решалась поднять глаз. Она одновременно и негодовала на всех своих соседей, и чувствовала, что унизилась, уступив им, что осквернена поцелуями пруссака, в объятия которого ее так лицемерно голкнули.

Но вскоре графиня, обратившись к г-же Карре-Ламадон, прервала это тягостное молчание:

— Вы, кажется, знакомы с госпожою д'Этьрель?

— Да, это моя приятельница.

— Какая прелестная женщина!

— Чудесная! Поистине избранное существо и к тому же такая образованная и глубоко художественная натура; она восхитительно поет и превосходно рисует.

Фабрикант беседовал с графом, и среди грохота оконниц порою слышались слова: «Купон — платеж — премия — в срок».

Луазо, стащивший в трактире старую колоду карт, засаленных благодаря пятилетнему трению о плохо вытертые столы, затеял с женою партию в безик.

Монахини взялись за длинные четки, свисав-

шие с их поясов, одновременно перекрестились, и вдруг губы их проворно задвигались, все больше и больше спеша, убыстряя невнятный шопот, словно их молитвы гнались одна за другой; время от времени они целовали образок, снова крестились, затем вновь продолжали торопливое и непрерывное бормотанье.

Корнюде не двигался, задумавшись.

После трех часов пути Луазо собрал карты и заявил:

— Пора поесть.

Тогда жена его достала перевязанный бечевкою сверток и вынула из него кусок телятины. Она аккуратно разрежала его на тонкие, плотные ломтики, и они принялись за еду.

— Не последовать ли и нам их примеру? — спросила графиня.

Получив согласие, она развернула провизию, припасенную на обе четы. Это были сочные копчености, лежавшие в одной из тех продолговатых фаянсовых мисок, на крышке которых изображен заяц, указывающий, что здесь покоится заячий паштет; белые речки сала пересекали коричневую мякоть, смешанную с другими мелко нарубленными сортами мяса. На прекрасном куске сыра, вынутом из газеты, виднелось слово: «Происшествия», отпечатавшееся на его маслянистой поверхности.

Монахини развернули кольцо колбасы, пахнувшей чесноком, а Корнюде засунул сразу обе руки в просторные карманы своего пальто и

вынул из одного — четыре крутых яйца, а из другого — краюху хлеба. Он облупил яйца, бросил скорлупу себе под ноги на солому и стал кусать от цельного яйца, роняя на длинную бороду светложелтые крошки, казавшиеся в ней звездочками.

В торопливой суетне и растерянности утреннего своего пробуждения Пышка не успела ни о чем позаботиться, и теперь она с досадой, задыхаясь от ярости, смотрела на всех этих невозмутимо жующих людей. Сперва ее обуяла бурная злоба, и она открыла было рот, чтобы выложить им все напрямик в потоке брани, подступавшей ей к губам; но раздражение так душило ее, что она не могла говорить.

Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал. Она чувствовала, что тонет в презрении этих честных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом оттолкнули, как грязную и ненужную вещь. Тут ей вспомнилась ее большая корзина, битком набитая всякими вкусными вещами, которые они так прожорливо уничтожили, вспомнились два цыпленка в блестящем желе, паштеты, груши, четыре бутылки бордосского, — и вдруг ее ярость стихла, как слишком сильно натянутая и лопнувшая струна, и она почувствовала, что готова расплакаться. Она делала невероятные усилия, напрягалась, глотала рыданья, как ребенок, но слезы подступали к глазам, поблескивали на ресницах, и вскоре две крупные слезинки, отделившиеся от

глаз, медленно покатались по щекам. За ними последовали другие, более проворные; они стекали, наподобие капель воды, сочащихся из утеса, и равномерно падали на крутой выступ ее груди. Она сидела прямо, с остановившимся взглядом, с застывшим и бледным лицом, надеясь на то, что на нее не обратят внимания.

Но графиня заметила ее слезы и жестом указала на нее мужу. Он пожал плечами как бы говоря: «Что ж поделаешь, я тут не при чем». Г-жа Луазо беззвучно, но торжествующе засмеялась и прошептала:

— Она оплакивает свой позор.

Монахини, завернув в бумажку остатки колбасы, снова принялись за молитвы.

Тогда Корнюде, переваривавший съеденные яйца, протянул длинные ноги под другую скамейку, откинулся, скрестил руки, улыбнулся, как человек, придумавший славную шутку, и стал насвистывать *Марсельезу*.

Все лица нахмурились. Народная песнь, очевидно, вовсе не нравилась его соседям. Они стали нервными, раздражительными и чуть ли не готовы были завывать, как собаки, слышавшие шарманку. Он заметил это и уже не прекращал свиста. Порою он даже напевал слова:

Любовь к отечеству святая,  
Дай мести властвовать душой!  
Веди, свобода дорогая,  
Твоих защитников на бой!

Теперь ехали быстрее, так как снег стал более плотным; и до самого Дьеппа, в течение долгих и унылых часов переезда, среди дорожной тряски, в сумерках вечера, а затем в глубоких потемках кареты, он с ожесточенным упорством продолжал свой мстительный однообразный свист, принуждая усталое и измученное сознание спутников следить за песнею от начала до конца, припоминать соответствующие слова и сопровождать ими каждый такт.

А Пышка все плакала, и порою, между двумя куплетами, во тьме прорывалось рыдание, которого она не могла удержать.



## ПОМЕШАННАЯ

*Роберу де Боньер*

— Вальдшнепы, — сказал г-н Матье д'Андолен, — напоминают мне одно мрачное происшествие, случившееся во время войны.

Вы помните мою усадьбу в предместье Кормейля. Я как раз жил в ней, когда появились пруссаки.

Моей соседкой тогда была одна помешанная, рассудок которой помутился под ударами несчастья. В былые времена, когда ей было двадцать пять лет, она лишилась в один месяц отца, мужа и новорожденного ребенка.

Посетив однажды какой-нибудь дом, смерть почти всегда тотчас же возвращается в него, словно заметив его дверь.

Несчастливая молодая женщина, сраженная горем, слегла в постель и шесть недель пробыла в бреду. Затем после этого бурного периода наступило нечто вроде спокойной усталости; она лежала, как пласт, почти перестав есть и только поводя глазами. Каждый раз, когда ее хотели заставить подняться, она так кричала, словно ее убивали. Поэтому ей больше уже не мешали лежать и ее поднимали с кровати только для того.

чтобы дать переодеться или перевернуть матрацы.

При ней жила старуха-нянька, заставлявшая ее время от времени выпить воды или поесть холодного мяса. Что происходило в этой отчаявшейся душе? Никто никогда не узнал этого: она ведь перестала говорить. Думала ли она о своих умерших? Была ли погружена в печальные грезы и ни о чем отчетливо не вспоминала? Или же ее поврежденная мысль неподвижно спала, как стоячая вода?

Так она провела пятнадцать лет, — в полном уединении и не вставая.

Началась война; в первых числах декабря пруссаки проникли в Кормейль.

Помню все это, как вчера. Мороз стоял такой, что камни трескались; я лежал, прикованный к креслу подагрбей, и вдруг услышал тяжелый и размеренный топот их шагов. Из окна мне было видно, как они проходили.

Они шли без конца, похожие друг на друга, с типичными для них движениями картонных паяцев. Затем начальники стали распределять своих людей между жителями. Мне досталось семнадцать человек. На долю сумасшедшей соседки пришлось двенадцать, в том числе один офицер, настоящий рубака, свирепый и грубый.

В первые дни все шло нормально. Офицеру объяснили, что она больна, и он оставил ее в покое. Но вскоре эта женщина, которой никогда не было видно, начала его раздражать. Он

справился о ее болезни; ему ответили, что его хозяйка лежит без движения пятнадцать лет вследствие сильного горя. Несомненно, он не поверил этому и вообразил, что бедняжка сумасшедшая не встает с постели из гордости, чтобы не видеть пруссаков, не разговаривать и не общаться с ними.

Он потребовал, чтобы она его приняла. Его ввели в ее комнату, и он сказал резким тоном: — Я попрошу фас, сутарыня, фстать и сойти фниз, штоп фас фидели.

Она обратила на него пустые, бессмысленные глаза и ничего не ответила.

Он продолжал:

— Я не потерплю терзости. Если фы не фстанете доброфольно, я сумею застафить фас прокуляться одну.

Она не шевельнулась, продолжая оставаться неподвижной, как будто и не видя его.

Он обозлился, приняв это спокойное молчание за признак крайнего презрения, и прибавил:

— Если зафтра фы не сойтете фниз...

Затем вышел.

На другое утро старуха-нянька, потеряв голову от страха, хотела было ее одеть; но помещанная принялась выть, отбиваясь. Офицер быстро поднялся наверх; служанка упала к его ногам, крича:

— Она не хочет встать, сударь, не хочет.

Простите ее: она так несчастна!

Солдафон смутился, не решаясь, несмотря на свой гнев, стащить ее с постели при помощи своих людей. Но вдруг он рассмеялся и отдал приказание по-немецки.

И вскоре увидели, как из ворот дома вышел небольшой отряд, несший матрац, словно перенося раненого.

Непотревоженная на своем ложе, помешанная оставалась все такую же спокойной, молчаливой и равнодушной ко всему происходившему, поскольку ей предоставили попрежнему лежать. Позади солдат нес узел с женским платьем.

Офицер, потирая руки, произнес:

— Уфитим, как фы не сможете отеться пез посторонней помощи и софершить маленькую прокулку!

Затем процессия удалилась в направлении Имовильского леса.

Два часа спустя солдаты вернулись одни.

С тех пор никто не видел помешанную. Что они с нею сделали? Куда ее снесли? Никто этого никогда не узнал.

Снег падал теперь день и ночь, погребая долину и леса покровом мерзлой пены. Волки приходили выть у самых наших дверей.

Мысль о пропавшей женщине неотвязно мучила меня; я много раз обращался к прусским

властям, чтобы добиться разъяснений. Меня чуть было не расстреляли.

Наступила весна. Оккупационная армия удалась. Дом соседки оставался запертым; густая трава выросла в аллеях сада.

Старуха-нянька умерла зимою. Никто более не интересовался этим происшествием; один я не переставал о нем думать.

Что они сделали с этой женщиной? Бежала ли она через лес? Или ее подобрали где-нибудь и положили в больницу, так и не добившись от нее никаких разъяснений? Ничто не рассеивало моего беспокойства; но мало-помалу тревогу сердца умиротворило время.

В следующую осень вальдшнепы прилетели в огромном количестве, и так как подагра дала мне небольшую передышку, я дотащился до лесу. Я убил уже четыре или пять длинноклювых птиц, как вдруг один из подстреленных мною вальдшнепов упал в ров, заваленный сухими ветвями. Пришлось спуститься туда, чтобы поднять птицу. Я нашел ее лежащей возле человеческого черепа. И внезапно воспоминание о сумасшедшей толкнуло меня в грудь, как удар кулака. Быть может, немало и других людей погибло в лесу в эту мрачную годину, но не знаю почему, я был уверен — повторяю, уверен, — что набрел на череп этой несчастной помешанной.

И вдруг я понял, угадал все! Они бросили ее на том матрасе в холодном пустынном лесу, и, верная своей навязчивой мысли, она умерла

под плотным и мягким пухом снега, не шевельнув ни рукой, ни ногой.

Затем ее растерзали волки.

А птицы свили гнезда из шерсти ее растрепавшегося матраца.

Я сохранил эти печальные останки. И от души пожелал, чтобы наши сыновья никогда больше не видели войны.

## ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Париж был осажден, голодал, изнемогал. Воробьев на крышах становилось все меньше, и сточные трубы пустели. Ели что попало.

Г-н Мориссо, часовщик по профессии и солдат в силу обстоятельств, уныло и с пустым желудком прогуливался в ясное январское утро вдоль внешнего бульвара, заложив руки в карманы форменных штанов; внезапно он остановился перед другим солдатом, узнав в нем своего старого приятеля. То был г-н Соваж, его знакомец по рыбной ловле.

До войны каждое воскресенье, на рассвете, Мориссо отправлялся по железной дороге в Аржантейль с бамбуковой удочкой в руке и жестяною коробкою за спиной, доезжал до Колумба и оттуда пешком добирался до острова Марант. Как только он достигал этого места своих мечтаний, он закидывал удочку и удил до самой ночи.

Каждое воскресенье встречал он там другого рыболова-фанатика, г-на Соважа, веселого и добродного человечка, торговца галантереей на улице Нотр-Дам де Лорет. Часто проводили они по

полдня, сидя рядышком с удочкою в руке, свесив над водой ноги, и скоро между ними возникла тесная дружба.

В иные дни они совсем не разговаривали. Иной же раз беседовали, но чудесно понимали друг друга и без слов, так как у них были общие вкусы и одинаковые переживания.

Весною, по утрам, часов в десять, когда помолодевшее солнце поднимало над спокойной рекою легкий пар, уносящийся вместе с водою, и славно припекало спины ярых рыболовов, Мориссо порою говаривал соседу:

— А? какова теплынь!

На что г-н Соваж отвечал:

— Не знаю ничего приятнее.

И этого им было достаточно, чтобы понимать и уважать друг друга.

Осенью к концу дня, когда небо, окровавленное заходящим солнцем, отражало в воде очертания пурпуровых облаков, заливало багрянцем всю реку, воспламеняло горизонт, освещало красным светом обоих друзей и позлащало уже пожелтевшие деревья, трепещущие ознобом зимы, г-н Соваж, глядя с улыбкой на г-на Мориссо, говорил:

— Каково зрелище?

И Мориссо, восхищенный, отвечал, не отрывая глаз от поплавок:

— Это будет получше бульваров, не правда ли?



Узнав теперь друг друга, они обменялись крепким рукопожатием, взволнованные встречей при столь изменившихся обстоятельствах. Г-н Соваж, вздохнув, тихо сказал:

— Ну и дела!

Мориссо угрюмо простонал:

— А какова погода-то! Сегодня первый ясный день с начала года.

Небо, действительно, было совсем синее и залитое светом.

Они пошли рядом задумчиво и печально. Мориссо заговорил снова:

— А рыбная ловля? А? Какие приятные воспоминания!

Г-н Соваж ответил:

— Когда-то мы опять вернемся туда?

Они вошли в маленькое кафе, выпили абсенту и снова принялись бродить по тротуарам.

Вдруг Мориссо остановился:

— Еще стаканчик, а?

Г-н Соваж был согласен:

— К вашим услугам.

Они зашли в другой кабачок.

Когда они вышли оттуда, головы их были сильно отуманены, как у людей, основательно выпивших на пустой желудок. Было тепло. Ласковый ветерок порхал по их лицам.

Г-н Соваж, которого совсем развезло от теплого воздуха, остановился:

— А не отправиться ли нам туда?

— Куда?

— Ловить рыбѹ.

— Но куда?

— Да на наш остров. Французские аванпосты стоят у Коломба. Я знаю полковника Дюмулена; нас пропустят легко.

Мориссо задрожал от удовольствия.

— Хорошо. Я согласен!

И они расстались, чтобы захватить свои рыболовные снасти.

Час спустя они шагали рядом по большой дороге. Затем добрались до дачи, занимаемой полковником. Он улыбнулся, выслушав их просьбу, и дал согласие. Они отправились дальше, снабженные паролем.

Вскоре они оставили за собою аванпосты, прошли через покинутый жителями Коломб и очутились на краю маленького виноградника, спускавшегося к Сене. Было около одиннадцати часов утра.

Деревня Аржантейль, напротив них, казалась вымершей. Высоты Оржмон и Саннуа господствовали над всей окрестностью. Широкая долина, идущая к Нантерру, с ее оголенными вишневыми деревьями и серою землей, была пуста, совершенно пуста.

Г-н Соваж, указывая пальцем на горы, сказал:

— Пруссаки там наверху!

И беспокойство охватило обоих друзей при виде этой опустевшей местности.

Пруссаки! Они ни разу еще не видели, но уже несколько месяцев ощущали их там, во-

круг Парижа, невидимых и всемогущих, разорвавших Францию, грабивших, убивавших, моривших голодом людей. И ненависть, которую они дили к неизвестному и побеждавшему народу, соединялась у них со своего рода суеверным ужасом.

Мориссо пролепетал:

— А что, если мы их встретим?

Г-н Соваж отвечал с зубоскальством парижанина, воскресающим, несмотря ни на что:

— Мы угостим их жареною рыбой.

Но они медлили идти дальше в поля, робея при виде этого молчания всей окрестности.

Наконец, г-н Соваж решил:

— Ну, идем! Но только осторожно!

Они спустились по винограднику ползком, перегнувшись пополам, пользуясь для прикрытия каждым кустом, беспокойно оглядываясь и настороженно прислушиваясь.

Им оставалось перейти лишь полосу пустой земли, чтобы достигнуть берега реки. Они пустились по ней бегом и, достигнув обрыва, притаились в сухих тростниках.

Мориссо приложил ухо к земле, прислушиваясь, не раздастся ли поблизости шагов. Ничего не было слышно. Они были одни, совсем одни.

И, успокоившись, они принялись удить рыбу.

Обезлюдивший остров Марант, находившийся против них, скрывал их от другого берега.

Маленькое здание ресторана было заколочен и казалось заброшенным много лет тому назад.

Г-н Соваж вытащил первого пескаря, Морис со подцепил второго, и они стали то и дело вытаскивать удочки, где на конце лесы трепетала серебристая рыбка; то была поистине чудесная ловля.

Они осторожно клали рыбу в веревочную сетку с мелкими петлями, мокнувшую в воде у их ног. Восторженная радость пронизала их, радость, охватывающая человека, когда он возвращается к любимому удовольствию, которого был долго лишен.

Ласковое солнце пригревало им спины; они ничего не слышали, ни о чем не думали, забыли весь мир; они удили.

Но внезапно глухой звук, словно подземный удар, потряс землю. Пушки начинали грохотать снова.

Мориссо повернул голову и над берегом, на лево, увидел высокий силуэт Мон-Валерьяна, вершина которого была украшена белым султаном — пороховым облачком, только что им выпущенным.

И тотчас над вершиною крепости взлетело второе облачко, и спустя несколько секунд грохнул новый выстрел.

Потом последовали другие, и гора ежеминутно изрыгала смертоносное дыхание, испуская клубы молочного пара, которые медленно по-

дымались в спокойном небе и образовывали над нею облако.

Г-н Соваж пожал плечами.

— Снова принимаются, — сказал он.

Мориссо, тревожно следивший за ежеминутным нырянием перышка возле своего поплавка, почувствовал вдруг, что его охватывает гнев мирного человека против этих бешеных, которые не переставали драться, и проворчал:

— Надо быть идиотом, чтобы так убивать друг друга!

Г-н Соваж добавил:

— Это хуже, чем у зверей!

Мориссо, только что поймавший уклейку, объявил:

— И подумать только, что так будет всегда, пока только будут существовать правительства!

Г-н Соваж остановил его:

— Республика не объявила бы войны...

Но Мориссо продолжал:

— При королях война идет с внешним врагом, а при республике — внутри страны.

И они спокойно принялись спорить, разрешая важные политические вопросы с точки зрения здравого смысла мирных и ограниченных людей, сходясь на том, что люди никогда не будут свободны. А Мон-Валерьен грохотал безумолку, разрушая своими ядрами французские дома, обрывая жизни, уничтожая людей, полагая конец стольким мечтам, разрушая столько фантазий, столько лелеемых радостей, столько надежд на

счастье, причиняя сердцам женщин, сердцам девушек, сердцам матерей, здесь и в других странах, страдания, которые не окончатся никогда.

— Это жизнь, — заявил г-н Соваж.

— Скажите лучше: это смерть, — возразил, улыбаясь, Мориссо.

Но они вздрогнули в испуге, отчетливо услышав за собою шаги, и, обернувшись, увидели над своими головами четырех мужчин, четырех вооруженных и бородатых мужчин, одетых в ливреи, подобно лакеям, и с плоскими фуражками на головах; эти люди целились в них из ружей.

Обе удочки выскользнули из рук рыболовов и поплыли вниз по течению.

В несколько секунд их схватили, связали, понесли, бросили в лодку и перевезли на остров.

Позади дома, который им казался покинутым, они увидели десятка два немецких солдат.

Волосатый великан, кутивший большую фарфоровую трубку, сидя верхом на стуле, спросил у них на чистейшем французском языке:

— Ну, как господа, хорош ли улов?

Тогда один из солдат положил к ногам офицера сетку, полную рыбы, которую он позабылся прихватить. Пруссак улыбнулся:

— Эге, я вижу, что дело шло не плохо. Но вопрос не в этом. Выслушайте меня и не волнуйтесь.

На мой взгляд, вы — два шпиона, подосланные, чтобы выследить меня. Я вас захватил и расстреляю. Вы делали вид, что заняты рыбной

ловлей, чтобы лучше скрыть ваши планы. Однако вы попались мне в руки: тем хуже для вас; такова война.

Но вы шли через аванпосты, и у вас, конечно, имеется пароль, чтобы пройти обратно. Сообщите мне пароль, и я вас пощажу.

Оба друга, мертвенно бледные, стоя рядом, молчали; их руки нервно подергивались.

Офицер продолжал:

— Никто об этом никогда не узнает, вы мирно вернетесь к себе. Тайна исчезнет вместе с вами. Если же вы откажетесь — немедленная смерть! Выбирайте.

Они стояли неподвижно, не раскрывая рта.

Пруссак, попрежнему спокойный, продолжал, протянув руку по направлению к реке:

— Подумайте, что через пять минут вы будете там, на дне. Через пять минут! Наверное, у вас есть родные?

Мон-Валерьен продолжал греметь.

Оба рыболова стояли безмолвно. Немец отдал какой-то приказ на своем языке. Затем он перенес свой стул, чтобы поместиться подальше от пленных, и двенадцать солдат стали в двадцати шагах от них с ружьями к ноге.

Офицер продолжал:

— Даю вам одну минуту, ни секунды больше.

Затем он вдруг встал, подошел к обоим французам, взял под руку Мориссо, отвел его в сторону и сказал шопотом:

— Ну, живо, пароль! Ваш товарищ ничего не узнает; я сделаю вид, что смягчился.

Мориссо ничего не ответил.

Пруссак отвел тогда г-на Соважа и сказал ему то же самое.

Г-н Соваж тоже не ответил.

Их снова поставили рядом.

Офицер скомандовал. Солдаты вскинули ружья.

В эту минуту взгляд Мориссо случайно упал на сетку, полную пескарей, оставшуюся на траве, в нескольких шагах от него.

Луч солнца играл на куче рыбы, еще продолжавшей биться. И Мориссо охватила слабость. Несмотря на все усилия, глаза его наполнились слезами.

Он пролепетал:

— Прощайте, господин Соваж.

Г-н Соваж ответил:

— Прощайте, господин Мориссо.

Они пожали друг другу руки, сотрясаясь с головы до ног в непреодолимой дрожи.

Офицер крикнул:

— Огонь!

Двенадцать выстрелов слились в один.

Г-н Соваж упал сразу, лицом вперед. Мориссо, выше его ростом, качнулся, перевернулся и рухнул поперек своего товарища, лицом кверху; струйки крови бежали из его куртки, пробитой на груди.

Немец отдал новые приказания.



Солдаты разошлись, потом снова вернулись, с веревками и камнями, которые привязали к ногам убитых; затем отнесли тела на берег.

Мон-Валерьен не переставал грохотать, окутавшись теперь целой горой дыма.

Двое солдат взяли Мориссо за голову и за ноги; двое других так же схватили г-на Соважа. Сильно раскачиваемые с минуту, тела друзей были брошены далеко, описали дугу, а затем стоймя погрузились в реку, так как камни тянули их ноги вниз.

Вода брызнула, закипела, взволновалась, а потом успокоилась, пока мелкие волны расходились к берегам.

На поверхности осталось немного крови.

Офицер, неизменно спокойный, сказал вполголоса:

— Теперь ими займутся рыбы.

Затем он направился к дому.

И вдруг он увидел на траве сеть с пескарями. Он поднял ее, осмотрел, улыбнулся и крикнул:

— Вильгельм!

Подбежал солдат в белом фартуке. И, бросая ему улов двух расстрелянных, пруссак scomандовал:

— Изжарь мне сейчас же этих рыбешек, пока они живы. Это будет восхитительно!

И он снова закурил трубку.

## ДУЭЛЬ

Война кончилась; вся Франция была занята немцами; страна содрогалась, как побежденный борец, прижатый коленом победителя.

Из обезумевшего, изголодавшегося, отчаявшегося Парижа отходили к новым границам и медленно тащились мимо деревень и сел первые поезда. Первые пассажиры смотрели в окошки на изрытые равнины и сожженные селения. Возле уцелевших домов немецкие солдаты в черных касках с медным острием покуривали трубки, сидя верхом на стульях. Другие работали или беседовали с хозяевами, словно члены семьи. В городах, встречавшихся по пути, можно было видеть целые полки, марширующие по площадям, и, несмотря на грохот колес, до слуха временами долетал хриплый голос командира.

Господин Дюбюи, прослуживший в парижском национальном ополчении в течение всей осады, ехал теперь в Швейцарию к жене и дочери, которых он, еще до нашествия неприятеля, из предосторожности отправил за границу.

Голод и усталость не сократили его толстого живота, живота богатого и миролюбивого тор-

говца. Он пережил страшные события с унылой покорностью и горькими жалобами на людскую жестокость. Хотя он и честно выполнял свой долг на городских укреплениях и не одну холодную ночь простоял на часах, но, направляясь теперь, по окончании войны, к границе, он видел пруссаков впервые.

Со злобным ужасом смотрел он на этих вооруженных, бородатых людей, расположившихся на французской земле, как у себя дома; в его душе горел некий пыл бессильного патриотизма, а вместе с ним росло смутное чувство, новый инстинкт осторожности, не покидающий его с тех пор.

Вместе с ним в купе сидело два англичанина, приехавших ради удовольствия и глядевших на все спокойным и любопытным взором. Оба они тоже были толстяки; они разговаривали на своем языке, изредка заглядывая в путеводитель, который они читали вслух, стараясь распознать упоминаемые в нем местности.

Когда поезд остановился в одном маленьком городке, в купе вдруг вошел немецкий офицер, громыхнув саблей по обеим подножкам вагона. Он был высок и сильно затянут в мундир; рыжая борода подходила ему к самым глазам и словно пылала, а длинные усы, более светлого оттенка, разбегались в стороны, разделяя лицо надвое.

Англичане тотчас же принялись его рассматривать, улыбаясь с чувством удовлетворенного

любопытства. А господин Дюбюи делал вид, что читает газету. Он съежился в уголку, как вор в присутствии жандарма.

Поезд тронулся. Англичане продолжали разговаривать и выискивать места сражений, как вдруг, в тот момент, когда один из них протянул руку, указывая село на горизонте, немецкий офицер проговорил по-французски, вытягивая ноги и откидываясь назад:

— Я упил тфенацать француз в этот село. Я брал польше сто пленник.

Англичане, крайне заинтересовавшись, поспешно спросили:

— О! Как насифайся это сэл?

Пруссак ответил:

— Фарсбург.

И добавил:

— Я взял эти шалун-француз за уши, — и он взглянул на господина Дюбюи с горделивой усмешкой.

Поезд все катил мимо занятых неприятелем деревушек. Немецкие солдаты попадались на дорогах, на полях, у заборов или возле тракторов, за разговором. Земля была покрыта ими, как саранчой.

Офицер повел рукою:

— Пудь я командир — я пы фзял Париж и фсе пы сжег и фсех пы упил. Конец Франции!

Англичане из вежливости ответили коротким:

— Aoh! Yes.

Он продолжал:

— Через тфатцать лет фся Европ, вся, будет наша. Пруссия сильнее фсех.

Встревоженные англичане перестали отвечать. Их лица, окаймленные длинными баками, сделались бесстрастными и точно восковыми. Тогда прусский офицер захохотал и, попрежнему развалясь, начал издеваться. Он глумился над разгромленной Францией, оскорблял поверженного врага, глумился над побежденной недавно Австрией, глумился над ожесточенным и бессильным сопротивлением отдельных провинций, глумился над новобранцами, над бесполезной артиллерией. Он объявил, что Бисмарк собирается построить железный город из захваченных пушек. И вдруг он поставил сапог на ногу господина Дюбюи, который скосил глаза и покраснел до ушей.

Англичане, казалось, сделались ко всему безразличными, словно внезапно уединились на свой остров, удалившись от мирского шума.

Офицер вынул трубку и, уставившись на француза, спросил:

— Найдется у фас табак?

Господин Дюбюи ответил:

— Нет, сударь.

Немец продолжал:

— Я прошу фас попежать купить, когда поезд будет остановиться.

И опять расхохотался:

— Я вам дам на тшай.

Поезд загудел, замедляя ход; миновав обгоревшие станционные здания, он остановился.

Немец отворил дверцу, взял господина Дюбюи за руку и сказал:

— Исполнийт мое порутшение, жифо, жифо!

Станция была занята немецким отрядом. Солдаты стояли вдоль деревянных заборов и смотрели по сторонам. Локомотив засвистел, трогаясь в путь. Тогда господин Дюбюи стремительно выскочил на перрон и, не обращая внимания на знаки начальника станции, бросился в соседнее купе.

Он один! У него так билось сердце, что он расстегнул жилетку и, отдуваясь, отер себе лоб.

Вскоре поезд остановился на следующей станции. Неожиданно в окошке появился офицер. Он влез в купе, а за ним последовали и два англичанина: их подстрекало любопытство.

Немец стал против француза и, продолжая хохотать, проговорил:

— Вы не хотель исполнить мое порутшенье? Господин Дюбюи ответил:

— Нет, сударь.

Поезд тронулся.

Офицер сказал:

— Я опрешу ваш ус и напью им свой трубка. И он потянулся рукою к лицу соседа.

Англичане, попрежнему невозмутимые, смотрели не сморгнув глазом.

Немец уже взялся за кончик уса и потянул его, но господин Дюбюи ударом снизу оттолк-

нул его руку и, схватив немца за ворот, швырнул на лавку. Потом, обезумев от злобы, со вспухшими висками, с налившимися кровью глазами, он одной рукой впился ему в горло, а другою стал бешено бить его кулаком по лицу. Пруссаk отбивался, пытался вытащить саблю, пробовал обхватить навалившегося на него противника. Но господин Дюбюи давил его своим грузным животом и бил, бил безустали, без передышки, сам не зная, куда сыплются удары. Потекла кровь; немец хрипел, задыхаясь, выплевывал зубы и тщетно пытался отбросить разъяренного толстяка, который готов был убить его.

Англичане поднялись с места и подошли, чтобы лучше видеть. Они стояли, полные радости и любопытства, и готовы были биться об заклад за того или другого из сражающихся.

Но вдруг господин Дюбюи, обессилев от напряжения, приподнялся и сел, не говоря ни слова.

Пруссаk не бросился на него, — до такой степени он растерялся, так ошалел от недоумения и боли. Отдышавшись, он проговорил:

— Если вы не татите мне удофлетворенье через пистолет — я вас упыю.

Господин Дюбюи ответил:

— Когда вам будет угодно. Весьма охотно.

Немец добавил:

— Вот Штрасбург; я возьму тва секунданта из офицеров; я успею, пока поезд не пойдет.

Господин Дюбюи, сопевший, как локомотив, обратился к англичанам:

— Не согласитесь ли вы быть моими секундантами?

Оба ответили зараз:

— Aoh, yes!

Поезд остановился.

Пруссак мигом отыскал двух товарищей, которые принесли с собою пистолеты; все отправились за городской вал.

Англичане беспрестанно вынимали часы, ускоряли шаг, торопили приготовления; они боялись опоздать на поезд.

Господину Дюбюи никогда еще не приходилось держать в руках пистолет. Его поставили в двадцати шагах от противника. Спросили:

— Вы готовы?

Отвечая: «Да, сударь», — он заметил, что один из англичан раскрыл зонтик, чтобы защититься от солнца.

Чей-то голос скомандовал:

— Пли!

Господин Дюбюи, не выжидая, выстрелил наугад и с удивлением увидел, что стоявший перед ним пруссак пошатнулся, всплеснул руками и повалился лицом вниз. Он был убит.

Один из англичан вскричал: «Aoh!» — и в этом звуке слышались радость, удовлетворенное любопытство и нетерпение. Другой, все еще с часами в руках, схватил господина Дюбюи под руку и побежал с ним к станции.



Первый англичанин, сжав кулаки и прибрав локти к туловищу, отсчитывал на ходу шаг:

— Раз, два, раз, два!

И все трое, несмотря на толстые животы, бежали в ряд, как три чудака из юмористического журнала.

Поезд отходил. Они вскочили в свой вагон. Сняв дорожные шапочки, англичане подняли их вверх и, махая ими, трижды прокричали:

— Гип, гип, гип, ура!

Потом они один за другим торжественно протянули господину Дюбюи руки и снова уселись рядышком в своем углу.

## МАДМУАЗЕЛЬ ФИФИ

Майор, граф Фарльсберг, командующий прусским отрядом, дочитывал принесенную ему почту, погрузившись в широкое ковровое кресло и задрав ноги на изящную доску камина, где за три месяца его пребывания в замке Ювильщпоры его проложили пару заметных выбоин, углублявшихся с каждым днем.

Чашка кофе дымилась на круглом столике с мозаичной доской, залитой ликерами, прожженной сигарами, изрезанной перочинным ножом офицера-завоевателя, который порою, перестав оттачивать карандаш, принимался царапать на драгоценной мебели цифры и рисунки, по прихоти своей праздной фантазии.

Закончив чтение писем и просмотр немецких газет, только что поданных вагенмейстером, граф встал, подбросил в камин три-четыре толстых, еще сырых полена — эти господа понемногу сводили парк на отопление — и подошел к окну.

Дождь лил потоками; это был нормандский дождь, словно изливаемый разъяренной рукою. дождь косой и плотный, как завеса, подобный

тене из наклонных полос, дождь, который хлещет, брызжет грязью, затопляет все — настоящий дождь окрестностей Руана, этого ночного кошмара Франции.

Офицер долго смотрел на залитые водой лужайки и вдаль, на вздувшуюся и выступившую из берегов Андель; он барабанил пальцами по стеклу, выстукивая какой-то рейнский вальс, как вдруг шум за спиною заставил его обернуться: то был его помощник, барон Кельвейнгштейн, чин которого соответствовал нашему чину капитана.

Майор был огромного роста, широкоплечий, с длинною веерообразной бородой, ниспадавшей на его грудь, подобно скатерти; вся его рослая фигура вызывала представление о павлине, о военном-павлине, распутившем хвост под подбородком. У него были голубые, холодные и спокойные глаза, шрам на щеке от удара саблей, полученного во время войны с Австрией, и он в такой же степени слыл за честного человека, как и за храброго офицера.

Капитан маленький, краснолицый, с большим, туго перетянутым животом, коротко стриг свою рыжую шерсть, пламенные отливы которой при известном освещении способны были внушить мысль, что лицо его натерто фосфором. У него не хватало двух зубов, выбитых в ночь кутежа, — как это вышло, он хорошенько и не помнил, — и он, шепелявя, выплевывал слова, которые не всегда можно было понять; на макушке его

головой была плешь, вроде монашеской тонзуры; руно коротких курчавившихся волос, золотистых и блестящих, обрамляло этот кружок обнаженной плоти.

Командир пожал ему руку и одним духом выпил чашку кофе (шестую за это утро), выслушав рапорт своего подчиненного о происшествиях по службе; затем они оба подошли к окну и объявили друг другу, что им невесело. Майор, человек спокойный, имевший семью на родине, приспособлялся ко всему, но капитан, отъявленный кутила, завсегда тай притонов и очаровательный юбочник, прикованный к этому захламленному посту, приходил в бешенство от вынужденного трехмесячного целомудрия.

Кто-то тихонько постучал в дверь, и командир крикнул: «Войдите!» На пороге показался один из их солдат-автоматов, извещавший своим появлением, что завтрак подан.

В столовой они застали трех младших офицеров: лейтенанта Отто фон Гросслинга, двух младших лейтенантов — Фрица Шейнаубурга и маркиза Вильгельма фон Эйрик, маленького блондина, надменного и грубого с мужчинами, жестокого с побежденными и всегда готового вспыхнуть, как порох.

С минуты вступления во Францию товарищи звали его не иначе как Мадмуазель Фифи. Этим прозвищем он был обязан своей кокетливой внешности, тонкому, словно перетянтому корсетом, стану, бледному лицу с едва пробивавше

мися усиками, а также усвоенной им привычке употреблять ежеминутно, дабы выразить наивысшее презрение к людям и вещам, французские слова «fi», «fi donc», которые он произносил с легким присвистом.

Столовая в замке Ювиль представляла собою длинную, царственно пышную комнату, старинные зеркала которой, все в звездообразных трещинах от простреливших их пуль, и высокие фландрские вышивки по стенам, искромсанные ударами сабли и местами свисавшие, свидетельствовали о занятиях Мадмуазель Фифи в часы досуга.

Три фамильных портрета на стенах — воин, облаченный в броню, кардинал и председатель суда — курили длинные фарфоровые трубки, а благородная дама в узком корсаже надменно выставляла из рамы со стершейся позологой огромные нарисованные углем усы.

Завтрак офицеров проходил почти безмолвно в этой обезображенной и полутемной от ливня комнате, наводившей уныние своим видом завоеванного места, где старый дубовый паркет стал грязен, как пол кабака.

Окончив еду и перейдя к вину и куренью, они, как повелось каждый день, принялись жаловаться на скуку. Бутылки с коньяком и ликерами переходили из рук в руки, и все офицеры, развалившись на стульях, непрестанно отхлебывали

Вали маленькими глотками вино, не выпуская из угла рта длинных изогнутых трубок с фаянсовым яйцом на конце, пестро расписанным, словно для соблазна готтентотов.

Едва стаканы опорожнялись, как офицеры с покорным и усталым видом наполняли их снова. Но Мадмуазель Фифи при этом всякий раз разбивал свой стакан, а солдат немедленно подавал ему другой.

Едкий табачный туман заволакивал их, и они, казалось, все глубже погружались в сонливый и печальный хмель, в угрюмое опьянение людей, которым нечего делать.

Но вдруг барон вскочил. Дрожа от бешенства, он выкрикнул:

— Чорт побери! Так не может продолжаться, надо, наконец, что-нибудь придумать!

Лейтенант Отто и младший лейтенант Фриц, оба с типичными немецкими лицами, неподвижными и глубокомысленными, спросили в один голос:

— Что же, капитан?

Он с минуту подумал, потом сказал:

— Что? Если начальник разрешает, надо устроить пирушку!

Майор вынул изо рта трубку:

— Какую пирушку, капитан?

Барон подошел к нему:

— Я беру все хлопоты на себя. Долг будет отправлен мною в Руан и привезет с собою дам; я знаю, где их раздобыть. Приготовят ужин, все

у нас для этого есть, и мы, по крайней мере, проведем славный вечерок.

Граф Фарльсберг улыбнулся, пожимая плечами:

— Вы с ума сошли, друг мой.

Но все офицеры вскочили со своих мест, окружили командира и молили его:

— Разрешите капитану, начальник, здесь так уныло.

Наконец, майор уступил, сказав: «Ну, хорошо» — и барон тотчас же послал за *Долгом*. То был старый унтер-офицер, никогда не улыбавшийся, но фанатически выполнявший все приказания начальника, каковы бы они ни были.

Вытянувшись, он выслушал с бесстрастным лицом указания барона; затем вышел, и пять минут спустя четверка лошадей уже мчала под проливным дождем огромную обозную полковую повозку с натянутым над нею в виде купола брезентом.

Тотчас все словно пробудились: вялые фигуры выпрямились, лица оживились, и все принялись болтать.

Несмотря на то, что ливень продолжался с тем же неистовством, майор объявил, что стало светлее, а лейтенант Отто с убежденностью утверждал, что небо сейчас прояснится. Сам Мадмуазель Фифи, казалось, не мог усидеть на месте. Он вставал и садился снова. Его светлые, жесткие глаза искали, что бы такое разбить. Вдруг, остановившись взглядом на уса-

той даме, молодой блондин вынул револьвер.

— Ты этого не увидишь, -- сказал он и, не вставая с места, прицелился. Две пули, последовательно, продырявили оба глаза портрету.

Затем он крикнул:

— Заложим мину!

И разговоры вмиг смолкли, словно вниманием всех присутствующих овладел какой-то захватывающий и новый интерес.

*Мина* была его выдумкой, его способом-разрушения, его любимой забавой.

Покидая замок, владелец его, граф Фернанд'Амуа д'Ювиль, не успел ни захватить с собою, ни спрятать ничего, кроме серебра, замурованного им в углублении одной стены. А так как он был богат и вельможен, то большая гостиная, выходящая в столовую, представляла собою, до поспешного бегства хозяина, настоящую галерею музея.

По стенам висели дорогие полотна, рисунки и акварели; на столиках и шкафах, на этажерках и в изящных витринах множество безделушек -- китайские вазы, статуэтки, фигурки из саксонского фарфора, китайские уроды, старая слоновая кость и венецианское стекло -- населяли огромную комнату своею драгоценною и причудливою толпой.

Теперь от всего этого не осталось почти ничего. Не то, чтобы вещи были разграблены, -- майор граф Фарльсберг этого никогда не допустил бы, -- но Мадмуазель Фифи время от вре-



мени закладывал *мину*, и в такие дни все офицеры действительно веселились во-всю в течение нескольких минут.

Маленький маркиз пошел в гостиную на поиски того, что ему было нужно. Он принес крошечный чайник из китайского фарфора — семьи «розовых», — насыпал в него порошу, осторожно ввел через носик длинный кусок трута, поджег его и бегом отнес эту адскую машину в соседнюю комнату.

Затем он мгновенно вернулся, заперев за собою дверь. Все немцы ожидали, стоя, с улыбкой детского любопытства на лицах, и как только взрыв потряс стены замка, толпою бросились в гостиную.

Мадмуазель Фифи, войдя первым, неистово захлопал в ладоши при виде терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова; каждый подбирал куски фарфора, удивляясь странной форме изломов, причиненных взрывом, рассматривая новые повреждения и споря о некоторых, как о результате предыдущих взрывов; майор же окидывал отеческим взглядом огромный зал, разрушенный, словно по воле Нерона, этой картечью и усеянный обломками произведений искусства. Он вышел первым, благодушно заявив:

— На этот раз очень удачно.

Но в столовую ворвался такой столб дыма, примешавшись к табачному туману, что стало трудно дышать. Майор распахнул окно, и офи-

церы, вернувшись допить последние рюмки коньяку, тоже подошли к окну.

Комната наполнилась запахом воды и влажным воздухом, принесшим с собою облако водяной пыли, садившейся на бороды. Офицеры смотрели на высокие деревья, поникшие под ливнем, на широкую долину, отуманенную этим извержением черных и низких туч, и на отдаленную церковную колокольню, высившуюся серой стрелой под проливным дождем.

С самого вступления пруссаков на этой колокольне больше не звонили. То было, впрочем, единственное сопротивление, встреченное завоевателями в этом краю. Кюре ничуть не отказывался принимать на постой и кормить прусских солдат; он даже не раз соглашался распить бутылочку пива или бордо с неприятельским командиром, который часто прибегал к его благосклонному посредничеству; но не следовало просить его хоть раз ударить в колокол: он скорее дал бы себя расстрелять. То был его личный способ протеста против нашествия, протеста молчанием, мирного и единственного протеста, который, по его словам, приличествовал священнику, носителю кротости, а отнюдь не вражды; на десять лье в округе все восхваляли твердость и геройство аббата Шантавуана, посмевшего утвердить народный траур, провозгласив его упорным безмолвием своей церкви.

Вся деревня, воодушевленная этим сопротивлением, готова была до конца поддерживать

своего пастыря, идти на все, считая этот молчаливый протест спасением народной чести. Крестьянам казалось, что они оказали не меньшие услуги родине, чем Бельфор и Страсбург, что они подали одинаковый пример патриотизма, что имя их деревушки обессмертится; помимо этого, они ни в чем не отказывали прусским победителям.

Начальник и офицеры смеялись над этим безобидным мужеством, а так как во всей местности к ним относились предупредительно и с покорностью, то они охотно мирились с этим молчаливым выражением патриотизма.

Один только маленький маркиз Вильгельм хотел во что бы то ни стало добиться, чтобы колокол зазвонил. Он злился на дипломатическую снисходительность своего начальника и ежедневно умолял его дозволить один раз, один только разик, просто забавы ради, прозвонить «дин-дон-дон». Он просил об этом с грацией кошки, с вкрадчивостью женщины, нежным голосом любовницы, отуманенной желанием; но майор не уступал, а Мадмуазель Фифи, чтобы утешиться, закладывал *мины* в замке Ювиль.

Несколько минут все пятеро стояли группой у окна, вдыхая сырость. Наконец, лейтенант Фриц, рассмеявшись густым смехом, сказал:

— Этим дефицам выпал дурной фрема для их прокулки.

Затем каждый отправился по своим делам, а

у капитана оказалось множество хлопот по приготовлению обеда.

Сойдясь снова вечером, они не могли не рассмеяться, взглянув друг на друга: освежившиеся, напомаженные, надушенные, все они были принаряжены и ослепительны, как в дни больших парадов. Волосы майора казались уже не столь седыми, как утром, а капитан побрился оставив только усы, пылавшие у него под носом.

Несмотря на дождь, окно оставили открытым, и то и дело кто-нибудь подходил к нему прислушаться. В десять минут седьмого барон сообщил об отдаленном стуке колес. Все бросились к окну, и вскоре на двор влетел огромный фургон, запряженный четверкою все еще мчавшихся лошадей, забрызганных грязью до самой спины, дымившихся от пота и храпевших.

И на крыльцо спустились пять женщин, пять красивых девушек, тщательно отобранных товарищем капитана, к которому *Долг* ходил с визитною карточкой своего офицера.

Они не заставили себя просить, зная наперед, что им хорошо заплатят, успев ознакомиться за три месяца с пруссаками и примирясь с ними, как и с положением вещей вообще. «Этого требует наше ремесло», — убеждали они себя по дороге, без сомнения стараясь заглушить тайные укоры каких-то остатков совести,

Тотчас же вошли в столовую, Освещенная, она казалась еще мрачнее, в своем плачевном

разгроме, а стол, уставленный яствами, дорогой посудой и серебром, найденным в стене, где его спрятал владелец замка, придавал комнате вид таверны бандитов, ужинающих после грабежа. Капитан, весь сияя, тотчас же завладел женщинами, как привычным достоянием, осматривал их, обнимал, обнюхивал, определял их ценность как жриц веселья, а когда трое молодых людей захотели выбрать себе по даме, он властно остановил их, желая произвести раздел самолично, по чинам, по всей справедливости, чтобы ничем не нарушить иерархии.

Во избежание всяких споров, всяких пререканий и всяких подозрений в пристрастии, он выстроил их в ряд, по росту и обратился к самой высокой, словно командуя:

— Твое имя?

— Памела, — отвечала та, стараясь говорить громче.

И он провозгласил:

— Номер первый, Памела, присуждается командиру.

Обняв затем вторую, Блондинку, в знак присвоения, он предложил толстую Аманду поручику Отто; Еву, по прозвищу Томат — подпоручику Фрицу, а самую маленькую из всех, еврейку Рашель, молоденькую брюнетку, с черными, как чернильные пятна глазами, со вздернутым носиком, не подтверждавшим правила о том, что все евреи горбоносы, — младшему из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик.

Все женщины, впрочем, были красивые и полные, мало отличались друг от друга лицом и походили одна на другую манерами и цветом кожи, вследствие ежедневных занятий любовью и общей жизни в публичном доме.

Трое молодых людей хотели было тотчас же увести своих женщин наверх, под предлогом дать им возможность умыться и почиститься: но капитан мудро воспротивился этому, утверждая, что они достаточно опрятны, чтобы сесть за стол, и что те, которые пошли бы с ними наверх, захотят, пожалуй, спустившись, поменяться дамами, и этим расстроят остальные пары. Его житейская опытность одержала верх. Ограничились многочисленными поцелуями, поцелуями ожидания.

Вдруг Рашель чуть не задохнулась, закашлявшись до слез и выпуская дым из ноздрей. Маркиз, под предлогом поцелуя, впустил ей в рот струю табачного дыма. Она не рассердилась, не сказала ни слова, но пристально взглянула на своего обладателя, и в глубине ее черных глаз вспыхнул гнев.

Сели за стол. Сам командующий был, казалось, в восторге; направо от себя он посадил Памелу, налево — Блондинку и объявил, развертывая салфетку:

— Вам пришла в голову восхитительная мысль, капитан.

Лейтенанты Отто и Фриц, державшиеся крайне вежливо, словно рядом с ними были свет-

ские дамы, слегка стесняли этим своих соседок, но барон фон Кельвейнгштейн, чувствуя себя в своей сфере, сиял, сыпал двусмысленными островами и, благодаря своей шапке красных волос, казался объатым пламенем. Он любезничал на рейнско-французском языке, и его кабацкие комплименты, выплюнутые сквозь отверстие двух выбитых зубов, долетали к девицам с картечью слюны.

Девушки, впрочем, ничего не понимали, и сознание их, кажется, пробудилось лишь в тот момент, когда барон стал изрыгать похабные слова и непристойности, искажаемые вдобавок его произношением. Тогда они все вместе стали хохотать, как безумные, привзливаясь на животы своим соседям, повторяя выражения барона, которые он принялся намеренно коверкать, чтоб заставить их говорить сальности. Они сыпали ими в изобилии, опьянев от первых бутылок вина, и, снова став самими собой, войдя в привычную роль, целовали направо и налево усы, щипали руки, испускали пронзительные крики, пили из всех стаканов, пели французские куплеты и обрывки немецких песен, усвоенные ими во время ежедневного общения с неприятелем.

Вскоре и мужчины, опьяненные этим женским телом, — столь доступным для обладания, — обезумели, принялись реветь, разбивать посуду, в то время как солдаты, стоявшие за каждым стулом, бесстрастно прислуживали им.

Один командующий хранил известную сдержанность.

Мадмуазель Фифи взял Рашель к себе на колени и, воспламеняясь, — хотя и оставался холодным, — то начинал безумно целовать черные завитки волос у ее затылка, вдыхая, между платьем и кожей, нежную теплоту ее тела и исходивший от него запах, то, охваченный звериным неистовством, побуждаемый потребностью разрушения, яростно щипал ее сквозь одежду, так что она вскрикивала. Часто также, держа ее в объятиях и так сжимая, словно стремясь слиться с нею, он подолгу впивался губами в свежий рот еврейки и целовал ее до потери дыхания; и вдруг в одну из таких минут он укусил ее так глубоко, что струйка крови побежала по подбородку девушки, стекая за корсаж.

Еще раз она взглянула прямо в глаза офицеру и, отирая кровь, пробормотала:

— За это расплачиваются.

Он расхохотался жестоким смехом.

— Я заплачу, — сказал он.

Подавали десерт; разливали шампанское. Командующий поднялся и тем же тоном, каким провозгласил бы тост за здоровье императрицы Августы, сказал:

— За наших дам!

И начались тосты, галантерейные тосты солдафонов и пьяниц, вперемежку с циничными шутками, казавшимися еще грубее из-за незнания языка.



Офицеры вставали один за другим, пытаясь блеснуть остроумием, стараясь быть забавными, а женщины, пьяные вдрызг, с блуждающим взором, с отвиснувшими губами, каждый раз неистово аплодировали.

Капитан, желая придать оргии праздничный и галантный характер, снова поднял бокал и воскликнул:

— За наши победы над сердцами!

Тогда лейтенант Отто, напоминавший собою шварцвальдского медведя, встал, возбужденный, упившийся, и в порыве патриотизма крикнул:

— За наши победы над Францией!

Как ни пьяны были женщины, однако они разом умолкли, а Рашель, дрожа, обернулась:

— Ну, знаешь, видала я французов, в присутствии которых ты не сказал бы этого!

Но маленький маркиз, продолжая держать ее на коленях, захохотал, развеселившись от вина:

— Ха-ха-ха! Я таких не видывал. Стоит нам только появиться, как они улепетывают со всех ног!

Взбешенная девушка крикнула ему в упор:

— Ты лжешь, негодяй!

Мгновение он пристально смотрел на нее своими светлыми глазами, как смотрел на картины, холст которых продырявливал выстрелами из револьвера, затем рассмеялся:

— Вот как! Ну, давай потолкуем об этом, красавица! Да разве мы были бы здесь, будь они похрабрее?

Он оживился:

— Мы их господа! Франция — наша!

Рывком Рашель соскользнула с его колен и опустилась на свой стул. Он встал, протянул бокал на середину стола и повторил:

— Нам принадлежит вся Франция, все французы, все леса, поля и жилища Франции!

Остальные, совершенно пьяные, охваченные вдруг военным энтузиазмом, энтузиазмом скотов, подняли свои бокалы с ревом: «Да здравствует Пруссия!» — и осушили их одним духом.

Женщины, вынужденные молчать, перепуганные, не протестовали. Молчала и Рашель, не имея сил ответить.

Тогда маркиз поставил на голову еврейке снова наполненный бокал шампанского.

— Нам, — крикнул он, — принадлежат и все женщины Франции!

Рашель вскочила так быстро, что бокал опрокинулся; словно совершая крещение, он пролил желтое вино на ее черные волосы и, упав на пол, разбился. Ее губы дрожали; она с вызовом смотрела на офицера, продолжавшего смеяться, и, задыхаясь от гнева, пролепетала:

— Нет, шалишь, это уж нет; женщины Франции никогда не будут вашими.

Он сел, чтобы посмеяться в полное удовольствие, и, подражая парижскому произношению, сказал:

— Она очень мила, очень мила; но тогда зачем же ты здесь, моя крошечка?

Ошеломленная, она сначала умолкла, не понимая его слов в овладевшем ею волнении, но едва лишь уразумев, что он говорил, бросила ему негодующе и яростно:

— Я! Я! Да я не женщина, я — шлюха, а это то самое, что и нужно пруссакам:

Не успела она договорить, как он со всего размаху дал ей пощечину; но в ту минуту, как он снова занес руку, она, обезумев от ярости, схватила со стола маленький десертный нож с серебряным лезвием и так быстро, что никто не успел ничего заметить, всадила его офицеру прямо в шею, у той самой впадинки, где начинается грудь.

Какое-то слово, которое он произносил, застряло у него в горле, и он остался с разинутым ртом и с ужасающим выражением глаз.

У всех вырвался рев, и все в смятении вскочили, но Рашель, швырнув стул под ноги поручику Отто, растянувшись во весь рост, подбежала к окну, распахнула его, прежде чем успели ее догнать, и прыгнула в темноту, где не переставал лить дождь.

Через две минуты Мадмуазель Фифи был мертв. Тогда Фриц и Отто обнажили сабли и хотели зарубить женщин, валявшихся у них в ногах. Майору едва удалось помешать этой бойне, и он приказал запереть в отдельную комнату четырех обезумевших женщин под охраной двух часовых; затем он привел свой отряд в боевую готовность и организовал преследова-

ние беглянки, в полной уверенности, что ее поймут.

Пятьдесят человек, напутствуемые угрозами, были отправлены в парк; двести других обыскивали леса и все дома в долине.

Стол, мгновенно убранный, служил теперь смертным ложем, а четверо офицеров, непреклонных, протрезвившихся, с суровыми лицами воинов при исполнении обязанностей, стояли у окон, стараясь проникнуть взглядом во мрак.

Страшный ливень продолжался. Тьму наполняло непрерывное хлюпанье, реющий шорох всей той воды, которая струится с неба, сбегает по земле, падает каплями и брызжет кругом.

Вдруг раздался выстрел, затем издалека другой, и в течение четырех часов время от времени слышались то близкие, то отдаленные выстрелы, сигналы сбора, странные слова, выкрикиваемые хриплыми голосами, звучавшие призывом.

К утру все вернулись. Двое солдат было убито и трое других ранено их товарищами в пылу охоты и в сумятице ночной погони.

Рашель не нашли.

Тогда пруссаки решили нагнать страху на жителей, поставили вверх дном все дома, изъездили, обыскали, перевернули всю местность. Еврейка не оставила, казалось, ни малейшего следа на своем пути.

Генерал, когда ему было доложено об этом, приказал потушить дело, чтобы не давать дур-

того примера армий, и наложил дисциплинарное взыскание на майора, который в свою очередь взгрел своих подчиненных. «Воюют не для того, чтобы развлекаться и ласкать публичных женщин», — сказал генерал. И граф Фарльсберг в крайнем раздражении решил выместить все это на округе.

Так как ему нужен был какой-нибудь предлог, чтобы без стеснения приступить к репрессиям, он призвал кюре и приказал ему звонить в колокол на похоронах маркиза фон Эйрик.

Вопреки всякому ожиданию, священник на этот раз оказался послушным, покорным, полным предупредительности. И когда тело Мадмуазель Фифи, которое несли солдаты и впереди которого, вокруг и сзади шли солдаты с заряженными ружьями, — когда оно покинуло замок Ювиль, направляясь на кладбище, с колокольни впервые раздался похоронный звон, причем колокол звучал как-то весело, словно его ласкала дружеская рука.

Он звонил и вечером, а также на другой день, звонил ежедневно; он трезвонил, сколько от него требовали. Порою он даже начинал одиноко покачиваться ночью и тихонько издавал во мраке два-три звука, точно охваченный странною веселостью, проснувшись неизвестно зачем. Тогда все местные крестьяне решили, что он заколдован, и уже никто, кроме кюре и пономаря, не приближался к колокольне.

А там наверху, в тоске и одиночестве, жила несчастная девушка, принимавшая тайком пищу от этих людей.

Она оставалась на колокольне вплоть до ухода немецких войск. Затем, однажды вечером кюре попросил шарабан у булочника и сам отвез свою пленницу до ворот Руана. Приехав туда, священник поцеловал ее; она вышла из экипажа и быстро добралась пешком до публичного дома, хозяйка которого считала ее умершей.

Несколько времени спустя ее взял оттуда один патриот, чуждый предрассудков, любивший ее за этот прекрасный поступок; затем позднее, любив ее уже ради нее самой, он женился на ней и сделал из нее даму, не хуже многих других.

## ПЛЕННЫЕ

В лесу полная тишина; слышен только легкий шорох снега, падающего на деревья. Этот мелкий снежок шел с полудня, покрывая инеем ветки, набрасывая легкий серебряный покров на сухие листья зарослей, расстилая огромный белый мягкий ковер по дорогам и еще более сгущая бесконечное безмолвие этого океана деревьев.

У дверей лесной сторожки молодая женщина с обнаженными руками колола на камне топором дрова. Она была высокая, стройная и сильная, настоящая лесная дева, — дочь лесника и жена лесника.

Кто-то крикнул из дома:

— Мы одни сегодня ночью, Бертина; иди домой. Уже стемнело, а в лесу, может быть, бродят волки и пруссаки.

Раскалывая полено сильными ударами, от которых, при каждом взмахе крепких рук, вздымалась ее грудь, жена лесника отвечала:

— Кончаю, мамаша. Иду, иду; бояться нечего, еще светло.

Затем она внесла в дом вязанки хворосту и

поленья, уложила их вдоль очага, снова вышла наружу, чтобы затворить ставни, огромные ставни из сердцевины дуба, и, вернувшись, наконец, в дом, задвинула тяжелые засовы у двери.

Около огня прядла ее мать, сморщенная старуха; она стала боязливой с годами.

— Не люблю я, — сказала она, — когда отец нет дома. Две женщины — сила небольшая.

Молодая отвечала:

— Ну, как-никак, а волка или пруссака я убью.

И она указала взглядом на большой револьвер, висевший над очагом.

Ее мужа призвали в армию с самого начала нашествия пруссаков, и обе женщины остались одни с отцом, старым лесным сторожем, Николаем Пишоном, прозванным Ходулей, который наотрез отказался покинуть свое жилище и переехать в город.

Ближайший город был Ретель, старинная крепость, громоздившаяся на скале. Здешние жители были патриоты: они решили оказать сопротивление вторгшемуся врагу и, запершись у себя, выдержать осаду, согласно традициям города. Уже дважды — при Генрихе IV и Людовике XIV — жители Ретеля прославились своей героической обороной. Они и на этот раз сделают то же, чорт побери, или пусть их сожгут в стенах крепости.

Итак, они закупили пушек и ружей, обмундировали милицию, сформировали батальоны и ро-



ты и ежедневно производили учение на военном плацу. Все обыватели — булочники, бакалейщики, мясники, нотариусы, поверенные, столяры, книгопродавцы, даже аптекари — поочередно занимались военными упражнениями в определенные часы под командой г-на Лявиня, отставного драгунского унтер-офицера, а в настоящее время хозяина мелочной лавочки: он женился на дочери г-на Раводана-старшего и унаследовал его торговлю.

Он принял звание коменданта крепости, и так как все молодые люди отправились в армию, он завербовал всех прочих, которые и упражнялись, готовясь к предстоящей обороне. Толстяки двигались теперь по улицам не иначе как бегом, чтобы спустить с себя жир и побороть одышку; слабосильные таскали тяжести для укрепления мускулов.

Ждали пруссаков. Но пруссаки не показывались. Впрочем, они были неподалеку, так как уже два раза их разведчики проникали через лес до лесной сторожки Николая Пишона, прозванного Ходулей.

Старый лесник, бегавший, как лисица, приходил предупредить горожан. Пушки были наведены, но враг не появлялся.

Дом Ходули служил передовым постом в Авелинском лесу. Дважды в неделю старик ходил за провизией и приносил городским буржуа известия из деревни.

В этот день он отправился в город, чтобы сообщить, что позавчера около двух часов пополудни небольшой отряд немецкой пехоты оставался у него и затем почти тотчас же двинулся дальше. Командовавший отрядом унтер-офицер говорил по-французски.

Когда старик отправлялся в такое путешествие, он брал с собою двух собак, двух волкодавов с львиной пастью, из опасения встречи с волками, которые последнее время становились свирепыми; оставляя обеих женщин, он наказывал им хорошенько запереться в доме с приближением ночи.

Молодая ничего не боялась, но старуха все время тряслась от страха и повторяла:

— Все это плохо кончится, вот увидите, плохо кончится.

В этот вечер она была встревожена более обыкновенного.

— Ты знаешь, в котором часу вернется отец? — спросила она.

— О, верно, не раньше одиннадцати. Когда он обедает у коменданта, он всегда возвращается поздно.

Она стала подвешивать котелок над огнем, чтобы сварить суп, но вдруг замерла, прислушиваясь к неясному шуму, доносившемуся через печную трубу.

Она прошептала:

— По лесу идут; их человек семь-восемь по крайней мере.

Мать в испуге остановила свою прялку, про-  
бормотав:

— Ах, боже мой, а отца нет дома!

Не успела она договорить, как дверь задро-  
жала от сильных ударов.

Женщины не откликнулись, и громкий гортан-  
ный голос выкрикнул:

— Открывайте!

Затем после краткого молчания тот же голос  
продолжал:

— Открывайте! Не то виломаю тфери!

Тогда Бертина сунула в карман юбки тяже-  
лый револьвер, висевший над очагом, и, прило-  
жив ухо к двери, спросила:

— Кто вы такие?

Голос отвечал:

— Я — тавешни отрят.

Молодая женщина спросила:

— Что вам нужно?

— Я с утра саплутил в лесу со своим отрят.  
Открывайте, не то виломаю тфери.

У сторожихи не оставалось выбора; она по-  
спешно отодвинула толстый засов и, приоткрыв  
тяжелую створку двери, увидела в бледных  
снежных сумерках шесть человек, шесть прус-  
ских солдат, тех же самых, что приходили поз-  
авчера. Она проговорила решительным тоном:

— Зачем вы пришли в такой поздний час?

Унтер-офицер повторил:

— Я саплутил, совсем саплутил, я уснавал  
том. Я с утра нишего не кушат, мой отряд тош.

— Дело в том, что мы с мамашей сегодня вечером совсем одни, — заявила Бертина.

Солдат, повидимому добрый малый, отвечает:

— Это нишево. Я фам зла не телайт, но фи прикотовляйт нам кушат. Ми патаем от голод и утомлений.

Сторожиха посторонилась.

— Войдите, — сказала она.

Они вошли, запорошенные снегом, неся на своих касках как бы комья сбитых сливок, что придавало им сходство с меренгами; они казались усталыми и изнуренными.

Молодая женщина указала им на деревянные скамьи по обеим сторонам большого стола.

— Гадитесь, — сказала она, — я приготавливаю вам супу. У вас в самом деле совсем отощальный вид.

Затем она снова задвинула дверной засов.

Она долила водою котелок, подбавила в него масла и картофеля, а затем, сняв с крюка кусок сала, висевший над очагом, отрезала половину его и опустила в суп.

Шесть человек следили за всеми ее движениями с голодным блеском в глазах. Они сложили в угол свои ружья и каски и дожидались, как благодетельные дети на школьной скамье.

Мать снова принялась за свою пряжу, то и дело бросая пугливые взгляды на солдат-завоевателей. И слышны были только рокот прялки, потрескивание огня и бульканье закипавшей воды.

Но вдруг странный шум заставил всех вздрогнуть; под дверью раздалось что-то вроде глухого пыхтения, пыхтения звериного, громкого, пожего на хrap.

Немецкий унтер-офицер бросился к ружьям. Сторожиha улыбнулась и остановила его жестом.

— Это волки, — сказала она. — Они, как вы, бродят по лесу и голодны.

Не поверив ей, тот захотел поглядеть, и, как только створка двери открылась, он увидел двух больших серых зверей, убежавших быстрой, размашистой рысью.

Он вернулся и, садясь, пробормотал:

— Никак не поферил бы!

И он стал дожидаться похлебки.

Они принялись с жадностью поедать ее, разевали рты до ушей, чтобы проглотить побольше, раскрывали глаза одновременно с челюстями, а в горле у них булькало, как в водосточной трубе.

Обе женщины молча смотрели, как быстро движутся широкие рыжие бороды и как картофелины одна за другой пропадают в этом движущемся руне.

Так как солдаты захотели пить, сторожиha спустилась в подвал, чтобы нацедить для них сидра. Она пробыла там довольно долго; то был маленький сводчатый погреб, который, говорят, во время революции служил тюрьмой и тайником. В него проникали по узкой винтовой лестнице, запиравшейся трапом в глубине кухни.

Когда Бертина появилась снова, она посмеи-

валась, лукаво посмеивалась про себя, и подала немцам кувшин с сидром.

Затем она поужинала с матерью на другом конце кухни.

Покончив с едой, все шестеро солдат стали засыпать тут же, сидя за столом. Время от времени чья-нибудь голова падала с глухим стуком на доску стола, и, внезапно пробудившись, человек выпрямлялся.

Бертина сказала унтер-офицеру:

— Ложитесь, что ли, к огню, тут и для шестерых хватит места. Мы с мамашей заберемся наверх, в мою комнату.

Затем обе женщины поднялись на верхний этаж. Слышно было, как они заперли дверь на ключ и некоторое время ходили по комнате; затем они затихли.

Пруссаки растянулись на полу, ногами к огню, подложив под голову свернутые шинели; вскоре все шестеро захрапели на шесть разных ладов—одни пронзительно, другие басом, но все протяжно и могуче.

Они, повидимому, спали уже долго, как вдруг раздался выстрел, такой сильный, словно стреляли в самую стену дома. Солдаты мигом вскочили на ноги. Раздались два новых выстрела, а за ними последовало еще три.

Дверь верхнего этажа внезапно открылась, и в ней показалась сторожиха, босая, в рубашке и короткой юбке, со свечой в руке; она пролетела в ужасе:

— Это французы, их по меньшей мере человек двести. Если они вас здесь найдут, то подпалят дом. Скорей спускайтесь в погреб и не шумите. Если будете шуметь, мы пропали.

Растерявшийся унтер-офицер пробормотал:

— Корошо, корошо. Кута надо спускайтс?

Молодая женщина поспешно подняла узкий квадратный трап, и все шесть человек один за другим исчезли на винтовой лестнице, спускаясь в подземелье задом, чтобы хорошенько нащупывать ногою ступени.

Когда скрылось острие последней каски, Бертина захлопнула тяжелую дубовую доску, толстую, как стена, твердую, как сталь, прикрепленную к полу шарнирами и тюремным замком, — повернула ключ на два оборота и залилась смехом, немым, радостным смехом; на нее напало безумное желание заплясать над головами своих пленников.

Их совсем не было слышно; они были заперты в погребе, как в прочном ящике, в каменном ящике, куда воздух проникал лишь через отдушину, снабженную железной решеткой.

Бертина тотчас же снова развела огонь, опять подвесила над ним котелок и еще раз приготовила суп, прошептав:

— Отец, верно, устанет за эту ночь.

Затем она села и стала ждать. Один только звонкий маятник часов нарушал тишину своим равномерным тиканьем.

Время от времени молодая женщина смотрела

на циферблат, и ее нетерпеливый взгляд словно говорил:

— Однако это не так быстро.

Но вскоре ей послышался глухой говор под полом, невнятные тихие слова доходили до нее сквозь каменную кладку погребца. Пруссаки начинали догадываться об ее хитрости, и вскоре унтер-офицер поднялся по маленькой лестнице и, застучав кулаком в трап, крикнул снова:

— Открывайт!

Она встала, подошла и стала передразнивать его акцент:

— Што фам нушно?

— Открывайт!

— Я не открывайт.

Немец стал сердиться.

— Открывайт, или я сломай тферь.

Она рассмеялась.

— Ломай, любезный, ломай.

И он принялся колотить прикладом ружья в дубовый трап, запертый над его головой. Но дверь выдержала бы и удары тарана.

Лесничиха услышала, как он снова спустился вниз. Затем солдаты начали подыматься один за другим, чтобы испытать свою силу и осмотреть замок. Но, убедившись, без сомнения, в тщетности своих попыток, они опять спустились в погреб и возобновили разговор.

Молодая женщина слушала их, а затем открыла наружную дверь и стала прислушиваться к звукам ночи.



До нее донесся далекий лай. Она засвистала котничьим посвистом, и почти немедленно две огромные собаки появились из мрака и, резвясь, вскочили ей на плечи. Она схватила их за шеи и держала, чтобы не дать им убежать. Затем крикнула изо всех сил:

— Ау, отец!

Голос, еще издали, ответил:

— Ау, Бертина!

Обождав несколько секунд, она закричала снова:

— Ау, отец!

Голос приблизился и повторил:

— Ау, Бертина!

Лесничиха продолжала:

— Не проходи мимо отдушины. В погребе сидят пруссаки.

Слева внезапно обрисовался высокий силуэт мужчины, остановившегося между двумя деревьями. Он с тревогой спросил:

— Пруссак в погребе? Что они там делают?

Молодая женщина рассмеялась:

— Это давешние. Они заблудились в лесу, я их посадила в погреб, в холодильник.

И она рассказала о всем происшествии, о том, как она напугала пруссаков револьверными выстрелами и заперла их в погребе.

Старик, все еще озабоченный, спросил:

— А что же, по-твоему, мне теперь с ними делать?

Она отвечала:

— Пойди приведи господина Лявния с его войском. Он их возьмет в плен. Вот уж доволен-то будет.

Тут улыбнулся и дядя Пишон.

— Это правда, доволен он будет.

Дочь продолжала:

— Твой суп готов, поешь поскорей, а потом отправляйся.

Старый сторож сел за стол и принялся есть суп, предварительно поставив на пол две полные миски для собак.

Пруссаки, заслышав разговор замолчали.

Четверть часа спустя Ходуля снова отправился в путь. А Бертина стала ждать, подперев голову обеими руками.

Пленные снова начали волноваться. Теперь они кричали, звали на помощь и без конца колотили по несокрушимому трапу бешеными ударами прикладов.

Затем они начали стрелять через отдушину, вероятно, надеясь, что их услышат, если какому-нибудь немецкому отряду случится проходить в окрестностях.

Лесничиха больше не двигалась; но весь этот шум действовал ей на нервы, раздражал ее. Гнев и злоба нарастали в ней; она готова была перебить их всех, негодяев, чтобы заставить замолчать.

Затем, по мере того, как росло ее нетерпение,

она стала поглядывать на часы и считать минуты.

Отец ушел полтора часа тому назад. Теперь уж он добрался до города. Ей казалось, что она его видит. Он рассказывает о случившемся г-ну Лявиню, и тот бледнеет от волнения, звонит служанке, чтобы она принесла его мундир и оружие. Ей казалось, что она слышит барабанный бой, раскатывающийся по улицам. В окнах появляются испуганные головы. Граждане-солдаты выходят из своих домов, полуодетые, запыхавшиеся, застегивая пояса, и бегут к дому коменданта.

Потом весь отряд, с Ходулей во главе, ночью по снегу выступает в поход по направлению к лесу.

Она взглянула на часы.

— Через час они могут быть здесь.

Нетерпеливое нервное возбуждение охватило ее. Минуты казались ей бесконечными. Как тянулось время!

Наконец, часовая стрелка показала срок, назначенный ею для их прибытия.

Она снова открыла двери, чтобы услышать, как они подходят. Она увидела какую-то тень, осторожно приближавшуюся к ней. Ей стало страшно, и она вскрикнула. То был ее отец.

Он сказал:

— Они послали меня вперед, чтобы узнать, нет ли каких перемен.

— Никаких.

Тогда он, в свою очередь, прервал ночное безмолвие долгим пронзительным свистом. И вскоре показалась какая-то темная масса, медленно продвигавшаяся под деревьями: то был авангард, состоявший из десяти человек.

Ходуля, не переставая, повторял:

— Не проходите мимо отдушины погреба.

И первые прибывшие показывали следующим страшную отдушину.

Наконец, показался главный отряд, в составе двухсот человек, из которых каждый имел при себе по двести патронов.

Г-н Лявиль, взволнованный, дрожа от нетерпения, разместил их так, чтобы окружить дом со всех сторон, оставив незанятым широкое пространство напротив той небольшой черной дыры на уровне земли, через которую воздух проникал в погреб.

Затем он вошел в жилище и осведомился о силах и позиции противника, ставшего до того безмолвным, что он словно исчез, растаял, улетучился через отдушину.

Г-н Лявиль постучал ногой по трапу и позвал:

— Господин прусский офицер!

Немец не отвечал.

Комендант повторил:

— Господин прусский офицер!

Все было тщетно. В продолжение двадцати минут он убеждал этого молчаливого офицера сдаться с оружием и обозом, гарантируя жизнь и воинские почести ему и его солдатам. Однако

не добился никакого ответа о согласии или враждебных действиях. Положение становилось затруднительным.

Граждане-солдаты топтались в снегу, хлопая себя со всего размаха руками по плечам, как жалеют кучера, когда хотят согреться, и посматривали на отдушину с возрастающим ребяческим теланием пройти мимо нее.

Наконец, один из них, очень ловкий малый, по имени Подевен, отважился на это; он разбежался и пронесся мимо, как олень. Попытка удалась. Пленные, казалось, умерли.

Раздался голос:

— Там никого нет!

Другой солдат тоже пробежал свободное пространство против опасной дыры. Тут началась игра. Поминутно кто-нибудь опрометью пробежал от одного отряда к другому, как дети, бегающие наперегонки, и так проворно двигал ногами, что во все стороны летели комья снега. Чтобы согреться, люди развели большие костры из сухих сучьев, и профиль национального гвардейца, мчащегося бегом с правого фланга на левый, мелькал в ярком освещении.

Кто-то крикнул:

— Твой черед, Малуазон!

Малуазон был толстый булочник, его живот вызывал постоянные насмешки товарищей.

Он колебался. Над ним стали трунить. Набравшись, наконец, храбрости, он, пыхтя, пу-

стился бежать ровной, мелкой трусцой, от которой колыхалось его толстое брюхо.

Весь отряд хохотал до слез. Раздавались ободряющие крики:

— Bravo, bravo, Малуазон!

Он уже пробежал около двух третей пути, как вдруг из отдушины вырвался длинный быстрый красный язык пламени. Грянул выстрел, и огромный булочник грохнулся на землю со страшным воплем, зарывшись носом в снег.

Никто не бросился к нему на помощь. Тогда он сам со стоном пополз на четвереньках по снегу и, миновав опасную часть пути, лишился чувств.

Пуля попала ему в мякоть ляжки на самом верху.

После первой минуты испуга и удивления раздался новый взрыв хохота.

Но тут на пороге лесной сторожки появился комендант Лявинь. Он только что выработал план атаки. Дрожащим голосом он скомандовал:

— Лудильщик Планшу и его рабочие, выходи!

Подошли три человека.

— Снимите кровельные желоба с дома.

И не прошло четверти часа, как коменданту принесли кровельный жолоб в двадцать метров длиной.

Тогда он велел просверлить с величайшими

досторожностями небольшую круглую дыру края трапа и, устроив водопровод от колозного насоса до этого отверстия, с довольным видом заявил:

— А теперь мы напоим господ немцев водой.

Раздалось неистовое восторженное «ура», затем радостный вой и безумный хохот. А комендант, сформировав рабочие команды, сменявшие друг друга каждые пять минут, командовал:

— Качайте!

Когда рычаг насоса заработал, вдоль трубы пробежал легкий шум и стал затем опускаться в погреб со ступеньки на ступеньку, словно журчанье маленького водопада в аквариуме с золотыми рыбками.

Стали ожидать.

Прошел час, другой, третий.

Комендант с лихорадочным нетерпением прохаживался по кухне и время от времени прикладывал ухо к земле, стараясь угадать, что делает противник, и спрашивая себя, скоро ли он капитулирует.

Теперь враг зашевелился. Слышно было, как он передвигает бочки, разговаривает и плещется в воде.

Наконец около восьми часов утра из отдушницы послышался голос:

— Мне кочется поговорит с каспотин французский офицер.

Лявинь отвечал из окна, не слишком высоко вая голову:

— Вы сдаетесь?

— Я стаюсь.

— В таком случае передайте ружья через отдушину.

И тотчас увидели, как через дыру просунулось одно ружье и упало на снег, затем два, три и все остальные. И тот же голос заявил:

— Польще нет. Торопитс. Я утонул.

Комендант приказал:

— Прекратить.

Рычаг насоса опустилс недвижимо.

Солдаты заполнили всю кухню и стали в ожидании с ружьями к ноге; комендант медленно приподнял дубовый трап.

Появились четыре мокрые головы, четыре белокурые головы с длинными светлыми волосами, и все шестеро немцев друг за другом стали вылезать, испуганные, продрогнувшие, мокрые.

Их схватили и связали. Затем, опасаясь неожиданного нападения, немедленно выступили двумя колоннами: одна конвоировала пленных, другая сопровождала Малуазона, которого несли на матраце, положенном на жердях.

Они торжественно вступили в Ретель.

Г-ну Лявиню был пожалован орден за взятие в плен прусского авангарда, а толстого булочника наградили военной медалью за рану, полученную в бою с неприятелем.



## ПАПАША МИЛОН

Вот уже месяц как яркое солнце льет на поля свое жгучее пламя. Лучезарная жизнь расцветает под этим потоком огня; земля, сколько видит глаз, покрыта зеленью. Небо голубеет до самого края горизонта. Нормандские фермы, рассеянные по равнине, кажутся издали маленькими рощами в ограде из высоких буков. Вблизи же, когда распахиваешь источенную червями решетку, кажется, что видишь громадный сад: старые яблони, узловатые, как сами крестьяне, стоят в полном цвету. Ветхие черные стволы, корявые, искривленные, вытянувшиеся в ряд по двору, протягивают к небу свои блестящие белые и розовые купола. Сладкий аромат их цветения смешивается с терпким запахом раскрытых хлебов и с испарениями преющего навоза, по которому бродят куры.

Полдень. В тени грушевого дерева, посаженного перед дверью, обедает семья: отец, мать, четверо детей, две служанки и трое работников. Говорят мало. Едят суп, затем снимают крышку с блюда картофельного рагу в свином сале.

Время от времени служанка встает и отправляется в погреб наполнить кувшин сидром.

Хозяин, здоровенный сорокалетний детина, смотрит на виноградную, еще оголенную, лозу перед домом, извивающуюся вдоль стены под оконными ставнями.

— Отцов виноград раненько что-то собирается распусться в этом году, — говорит он. — Пожалуй, будут ягоды.

Жена также оборачивается и смотрит, не говоря ни слова.

Эта виноградная лоза посажена на том самом месте, где расстреляли отца.

Было это в войну 1870 года. Пруссаки занимали весь край. Генерал Федерб во главе Северной армии все еще оказывал им сопротивление.

Прусский штаб расположился на этой ферме. Ее владелец, старик-крестьянин, папаша Пьер Милон, принял и разместил пруссаков как нельзя лучше.

В течение месяца авангард немцев стоял для разведок в деревне. Французы не двигались с места, — они были в десяти лье отсюда. Тем не менее каждую ночь исчезало несколько уланов.

Никто из разведчиков, которых посылали в дозор, ни разу не возвратился — если они выезжали только вдвоем или втроем.

Утром их подбирали мертвыми где-нибудь в

поле, близ какого-нибудь крестьянского двора, во рву. Даже у их коней, валявшихся вдоль дороги, горло было перерезано ударом сабли.

Казалось, эти убийства совершались одними и теми же лицами, но их не удавалось обнаружить.

Весь край был терроризован. Крестьян расстреливали по простому доносу, сажали в тюрьмы женщин, угрозами пытались вынудить признания у детей. И ровно ничего не открыли.

Но вот однажды утром отца Милона нашли лежащим в конюшне; лицо его было рассечено.

А в трех километрах от фермы были найдены два улана с распоротыми животами. Один из них еще держал в руке свое окровавленное оружие: он защищался.

Тотчас же был образован полевой суд под открытым небом, перед фермой; привели старика.

Ему минуло шестьдесят восемь лет. Он был небольшого роста, худощав, немного кособок, с длинными руками, походившими на клешни краба. Сквозь его бесцветные, редкие и тонкие, как пух утенка, волосы просвечивала кожа черепа. На шее, под смуглой, морщинистой кожей, выступали толстые жилы; они исчезали под челюстями и вновь появлялись на висках. Во всей местности старик слыл скрягой и человеком неговорчивым.

Его поставили между четырьмя солдатами, перед кухонным столом, вынесенным наружу. Пять офицеров и полковник уселись напротив него.

Полковник заговорил по-французски:

— Папаша Милон, с тех пор как мы здесь, мы не могли вами нахвалиться. Вы всегда были услужливы, даже предупредительны по отношению к нам. Но сегодня над вами тяготеет ужасное обвинение, и необходимо пролить свет на это дело. Каким образом получили вы рану в лицо?

Крестьянин ничего не ответил.

Полковник продолжал:

— Ваше молчание изобличает вас, папаша Милон. Но я требую от вас ответа, слышите? Известно вам, кто убил обоих уланов, которых нашли сегодня утром близ холма с крестом?

Старик внятно произнес:

— Я.

Пораженный полковник на мгновение смолк, пристально вглядываясь в арестованного. Папаша Милон стоял безучастно, с тупым видом крестьянина, опустив глаза, словно разговаривая со своим кюре. Его душевное волнение изобличалось лишь тем, что он беспрестанно, с явным усилием глотал слюну, как будто у него было сдавлено горло.

Семья старика — сын его Жан, невестка и двое маленьких детей стояли шагах в десяти позади него испуганные, подавленные.

Полковник заговорил снова:

— Известно вам, кто убивал всех разведчиков нашей армии, которых в течение всего этого месяца находили по утрам в округе?

Старик ответил с тем же невозмутимым спокойствием:

— Я.

— Так это вы их всех убивали?

— Как есть всех — я.

— Вы один?

— Я один.

— Расскажите, как вы это делали.

На этот раз старик, казалось, взволновался; необходимость долго говорить явно смущала его. Он пробормотал:

— Почему я знаю? Делал, как приходилось.

Полковник продолжал:

— Предупреждаю, вы должны рассказать мне все. Для вас же будет лучше, если вы сознаетесь немедленно. Как вы принялись за это?

Старик бросил тревожный взгляд в сторону своей семьи, внимательно прислушивавшейся за его спиной. Он подумал с минуту, затем внезапно решился.

— Возвращался я как-то вечером домой. Было этак часов около десяти, на другой день, как вы сюда пришли. Вы и ваши солдаты отобрали у меня почти на пятьдесят экую фуража, корову и двух баранов. Я решил: каждый раз как они будут брать у меня на двадцать экую, я им стану оплачивать за это. Да кроме того у меня было еще кое-что на сердце; потом скажу. И вот вижу, один из ваших кавалеристов курит трубку у канавы, за моей ригой. Я пошел, снял с крюка косу и подкрался к нему сзади, чтоб он ни-

чего не слышал. И я снес ему голову, словно колос, одним взмахом, одним-единственным, он и не вскрикнул. Поищите на дне канавы — и вы найдете труп в угольном мешке с камнем из ограды.

Я составил себе план, забрал все его вещи, от сапог до фуражки, и спрятал их в гипсовой печи в Мартеновой роще, за двором.

Старик умолк. Пораженные офицеры переглянулись. Допрос возобновился, и вот что они слышали.

Совершив убийство, старик стал жить единственной мыслью: «Убивать пруссаков!» Он ненавидел их скрытной, ожесточенной ненавистью алчного крестьянина и вместе с тем патриота. У него был свой план, по его выражению. Он выждал несколько дней.

Ему была предоставлена полная свобода, он мог уходить и возвращаться, когда ему было угодно, — до такой степени прикинулся он смиренным по отношению к победителям, покорным и услужливым. И вот, заметив, что каждый вечер выезжали вестовые, он запомнил название деревни, куда направлялись всадники, заучил в общении с солдатами несколько нужных ему немецких слов, и как-то ночью вышел из дому.

Миновав двор, он прокрался в лес, дошел до гипсовой печи, проник в глубь длинного подзем-

ного хода и, отыскав одежду убитого, облачился в нее.

Затем он стал бродить по полям, то ползком, то крадучись вдоль откосов, чтобы укрыться, прислушиваясь к малейшему шуму, насторожившись, как браконьер.

Когда ему показалось, что пора действовать, он приблизился к дороге и спрятался в кустах. Он выжидал. Наконец, около полуночи по твердому грунту дороги раздался конский топот. Старик приник ухом к земле, чтобы увериться в том, что едет всего один всадник, затем стал наготове.

Улан приближался крупной рысью, везя депеши. Он ехал, зорко осматриваясь, напрягая слух. Как только он подъехал шагов на десять, не более, Милон пополз через дорогу и застонал: «Hilfe! Hilfe!» — «На помощь! На помощь!» Всадник остановился увидел сброшенного с коня немца, подумал, что тот ранен, спешился, подошел, ничего не подозревая, к нему и, как только склонился над незнакомцем, был поражен в живот длинным, кривым клинком сабли. Он уиал замертво, корчась в предсмертных судорогах.

Тогда нормандец, сияя безмолвной радостью, поднялся и, уже для собственного удовольствия, перерезал труп горло. Затем оттащил труп к канаве и сбросил его туда.

Конь спокойно поджидал своего хозяина. Папаша Милон вскочил в седло и понесся галопом по полям.

Час спустя он заметил ещё двух уланов, возвращавшихся бок о бок домой. Он помчался прямо на них, снова крича: «Hilfe! Hilfe!» Узнав свой мундир, пруссаки подпустили всадника к себе без малейшего недоверия. И старик, как пушечное ядро, пронесся между ними, убив одного саблей, другого — выстрелом из револьвера.

Затем он прирезал коней—немецких коней! — тихонько вернулся к гипсовой печи и спрятал своего коня в глубине темной галлерей. Там он сбросил форменную одежду, опять переоделся в свои нищенские лохмотья и, добравшись до постели, проспал до утра.

В течение четырех дней он не выходил из дому, выжидая окончания начатого следствия, но на пятый день снова выехал и убил еще двух солдат, применив ту же хитрость. С той поры он больше не останавливался. Каждую ночь он скитался, бродил, куда глаза глядят, убивая пруссаков то тут, то там, скакал по пустынным полям, при лунном свете, — уланом-скитальцем, истребителем людей. Затем, выполнив свою работу, оставив за собою валяющиеся вдоль дорог трупы, старый всадник возвращался и прятал в глубине гипсовой печи коня и мундир.

Около полудня он ео спокойным видом приносил овес и воду остававшемуся в глубине подземелья коню и кормил его вдоволь, так как требовал от него нелегкой работы.

Но накануне один из пруссаков, на которых



апал старый крестьянин, был настороже и рас-  
ек ему ударом сабли лицо.

И все-таки старик убил обоих! Он возвратил-  
я, спрятал коня и облекся в свою бедную одеж-  
ду, но, придя домой, обессилел и еле дополз до  
конюшни, не будучи в состоянии добраться до  
дому.

Там его и нашли окровавленным, на соломе...

Закончив свой рассказ, он внезапно поднял  
голову и гордо взглянул на прусских офицеров.

Полковник спросил его, подергивая ус:

— Больше вам нечего сказать?

— Нет, нечего; счет правилен: я убил шестна-  
дцать, ни больше ни меньше.

— Знаете ли вы, что вам придется умереть?

— Я не просил у вас пощады.

— Были ли вы солдатом?

— Да. Когда-то я бывал в походах. Впрочем,  
вы же убили моего отца, солдата первого им-  
ператора. Не говоря уже о том, что вы убили  
моего младшего сына, Франсуа, в прошлом ме-  
сяце, близ Эвре. За это я оставался перед ва-  
ми в долгу. Я уплатил. Мы с вами в расчете.

Офицеры переглянулись.

Старик продолжал:

— Восемь за отца, восемь за сына, вот мы и  
в расчете. Я не искал ссоры с вами, нет! Я во-  
все не знаю вас! Не знаю даже, откуда вы при-  
шли. А вот вы живете у меня и распоряжаетесь,

как дома. Я и отомстил вам за тех: И нисколько не раскаиваюсь.

И, выпрямив свою одеревяненную спину, старик скрестил руки со скромным видом героя.

Пруссаки долго совещались шопотом. Один капитан, также потерявший в прошлом месяце сына, защищал мужественного и гордого бедняка.

Тогда полковник поднялся и, подойдя к папаше Милону, сказал, понизив голос:

— Слушай, старина, быть может, нашлось бы средство сохранить тебе жизнь, если бы ты...

Но старик не слушал. Ветер шевелил его волосы на затылке. Глядя в упор на офицера-победителя, он скорчил ужасную гримасу, сморщившую его худощавое, изуродованное шрамом лицо, и, выпятив грудь, плюнул изо всех сил пруссаку в лицо.

Разъяренный полковник поднял руку, а старик еще раз плюнул ему в лицо.

Все офицеры с ревом сорвались с мест и одновременно отдавали приказы.

Не прошло и минуты, как старик, все такой же безучастный, был поставлен к стене и расстрелян в то время как он, улыбаясь, смотрел на Жана, своего старшего сына, на сноху и на обоих малышей, в ужасе не спускавших с него глаз.

## ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВАЛЬТЕРА ШНАФСА

*Роберу Пеншону*

С той минуты как Вальтер Шнафс вступил в пределы Франции в рядах армии завоевателей, он почитал себя несчастнейшим из смертных. Он был толст, ходил с трудом, сильно задыхался, и у него страшно болели ноги, плоские и очень жирные. Кроме того, по натуре он был миролюбив, приветлив, ни в какой мере не воинственен и не кровожаден, имел четырех горячо любимых детей и молодую белокурую жену, ласки, предупредительность и поцелуи которой он отчаянно оплакивал каждый вечер. Он любил вставать поздно и укладываться спозаранку, не спеша есть вкусные вещи и пить пиво в пивных. Кроме того, он был уверен в том, что все приятные стороны жизни исчезают вместе с нею, и таил в сердце своем ужасную — инстинктивную и в то же время сознательную — ненависть к пушкам, ружьям, револьверам, саблям, а в особенности к штыкам, так как чувствовал себя неспособным с достаточным проворством действовать этим быстрым оружием, чтобы защищать свой толстый живот.

Ночью, завернувшись в плащ и лежа на зем-

лю рядом с храпевшими товарищами, он подолгу раздумывал о близких, покинутых на родине, и об опасностях, которыми был усеян его путь. Если его убьют, что станется с малютками? Кто их будет кормить и воспитывать? Да и в настоящую минуту они небогаты, несмотря на долги, которые он сделал перед отъездом, чтобы оставить им хоть немного денег. И Вальтер Шнафс плакал не раз.

В начале каждого сражения он чувствовал такую слабость в ногах, что готов был упасть, если бы только не помнил, что вся армия пройдет по его телу. От свиста пуль поднимался дыбом каждый волосок на его коже.

Целые месяцы жил он так, в страхе и тоске.

Его корпус подвигался к Нормандии, и вот однажды он был послан в рекогносцировку с небольшим отрядом, которому надлежало только обследовать часть местности и затем отступить. Все кругом, казалось, было спокойно; ничто не указывало на возможность подготовленного отпора.

Пруссаки не спеша спускались в маленькую долину, прорезанную глубокими оврагами, когда жестокая пальба, свалив сразу человек двадцать, заставила их остановиться, и отряд вольных стрелков, внезапно выскочив из маленького, величиною чуть ли не с ладонь, леска, бросился вперед, примкнув штыки к ружьям.

Вальтер Шнафс сначала не двинулся с места: он был так поражен и растерян, что и не думал

бежать. Затем им овладело безумное желание обратиться в бегство, но он тотчас же вспомнил, что бегаёт, как черепаха, в сравнении с сухопарыми французами, бежавшими вприпрыжку, словно стадо коз. Тогда, увидев в шести шагах от себя широкий ров, заросший мелким кустарником с сухими листьями, он прыгнул в него обеими ногами, не подумав даже о его глубине, как прыгают с моста в реку.

Он пролетел, наподобие стрелы, сквозь толстый слой ползучих растений и острых колючек, исцарапавших ему лицо и руки, и тяжело плюхнулся задом на каменистое дно.

Подняв тотчас глаза, он увидел небо сквозь сделанное им отверстие. Это предательское отверстие могло его выдать, и он с предосторожностями пополз на четвереньках по дну ямы, под прикрытием сплетающихся между собой ветвей, подвигаясь как можно быстрее и удаляясь от места сражения. Затем он остановился и снова сел, притаясь, как заяц, в высокой сухой траве.

В течение некоторого времени он ещё слышал выстрелы, крики и стоны. Потом шум битвы стал слабеть и стих. Все снова погрузилось в молчание.

Вдруг возле него что-то зашевелилось. Он вскочил в ужасном испуге. То была маленькая птичка; опустившись на ветку, она шевельнула сухие листья. Почти целый час после этого

сердце Вальтера Шнафса билось сильными и частыми ударами.

Наступила ночь, наполняя ров темнотою. Солдат принялся размышлять. Что ему делать? Что с ним будет? Догнать армию?.. Но как это сделать? По какой дороге? И ему придется начать сызнава эту безобразную жизнь, полную тоски, страха, усталости и страданий, которую он вел с начала войны! Нет! Он больше не чувствовал в себе мужества для этого! У него больше не хватило бы силы выносить переходы и ежеминутно становиться лицом к лицу с опасностью.

Но что же делать? Не может же он оставаться в этом овраге и прятаться тут до окончания войны? Конечно, нет. Если б можно было обойтись без пищи, эта перспектива не очень смутила бы его; но ведь есть было нужно и притом ежедневно.

Таким образом, он очутился совершенно один, вооруженный и в мундире, на неприятельской земле, вдали от товарищей, которые могли бы его защитить. Озноб пробегал по его телу.

Вдруг он подумал: «Хорошо бы попасть в плен!» И сердце его замерло от желания, сильного, беспредельного желания сделаться французским пленником. Стать пленником! Ведь это значило быть спасенным, сытым, иметь верный приют, защищенный от ядер и сабель, в отличной, хорошо охраняемой тюрьме. Стать пленником! Какая сладкая мечта!

И решение его сложилось немедленно:

«Пойду и сдамся в плен!»

Он поднялся, намереваясь осуществить свой план не медля ни минуты. Но не мог двинуться с места, осажденный вдруг целым роем досадливых мыслей и новых ужасов.

Где объявит он себя пленным? Как? При каких обстоятельствах? И страшные образы, образы смерти, быстро пробегали в его душе.

Ему грозят ужасные опасности, если он пойдет в путь один, в своей остроконечной каске, по равнине.

Что, если он встретит крестьян? Видя заблудившегося пруссака, беззащитного пруссака, эти крестьяне убьют его, как бродячую собаку. Своими вилами, кирками, косами, лопатами они искрошат его! С остервенением отчаявшихся побежденных они превратят его в кашу, в месиво.

А если он встретит вольных стрелков? Эти вольные стрелки, эти бешеные, не признающие ни законов, ни дисциплины, расстреляют его просто ради забавы, чтобы весело провести часок и посмеяться, глядя на его физиономию. И он уже видел себя приставленным к стене, против двенадцати ружейных дул, как будто смотревших на него своими круглыми черными дырочками.

А что если ему попадется навстречу французская армия? Солдаты авангарда могут принять его за разведчика, за какого-нибудь смелого и ловкого служаку, который отправился на реког-

носпировку один, и будут стрелять по нем. И он уже слышал беспорядочные залпы солдат, лежавших в кустарниках, в то время как он, один посреди равнины, падал на землю, пробитый, наподобие шумовки, их пулями, которые уже ощущал в своем теле.

В отчаянии он снова присел. Положение представлялось ему безвыходным.

Нисходила ночь, немая и черная ночь. Он не шевелился больше, дрожа от малейшего неведомого шума в темноте.

Кролик, шлепавший своим задом у входа в норку, едва не обратил в бегство Вальтера Шнафса. Крики совы раздирали ему душу, пронизывая его внезапными страхами, болезненными, как рана. Он широко раскрывал свои круглые глаза, стремясь увидеть что-нибудь в темноте, и ему поминутно казалось, что кто-то шагает неподалеку.

После бесконечно тянувшихся часов и жестоких страданий он увидел небо, светлевшее в просвете прикрывавших его веток. Тогда он почувствовал огромное облегчение; члены его расправились и словно разом отдохнули, сердце утихло, глаза закрылись. Он уснул.

Когда он проснулся, солнце почти достигло зенита; по всей вероятности, близился полдень. Ни малейший шум не нарушал угрюмой тишины полей, и Вальтер Шнафс ощутил вдруг приступ острого голода.

Он зевнул, и у него потекли слюнки при вос-



помянув о колбасе, о вкусной солдатской колбасе; желудок его занял.

Он встал, сделал несколько шагов, увидел, что ноги его ослабели, и снова сел, чтобы собраться с мыслями. В течение двух или трех часов он взвешивал все за и против, ежеминутно меняя решения, чувствуя себя окончательно подавленным, несчастным, терзаемым самыми противоположными доводами.

Наконец одна мысль показалась ему логичной и удобоисполнимой: это — выждать какого-нибудь деревенского жителя, безоружного, не имеющего при себе каких-либо опасных рабочих инструментов, побежать ему навстречу и отдаться ему в руки, предварительно дав хорошенько понять, что он сдается.

Тогда он снял каску, острие которой могло его выдать, и с бесконечными предосторожностями высунул голову над краем своей ямы.

Ни единого живого существа не было видно на горизонте. Вдали, направо, маленькая деревушка возносила в небеса дым из своих труб, кухонный дым! Налево, в конце обсаженной деревьями дороги, он заметил высокий замок с башнями по бокам.

Так он прождал до самого вечера, ужасно страдая, ничего не видя, кроме летающих ворон, ничего не слыша, кроме глухого ворчания своих кишек.

И ночь снова спустилась над ним.

Он вытянулся на дне своего убежища и за-

снул лихорадочным сном, полным кошмаров, сном голодного человека.

Заря снова занялась над его головой. Он опять принялся за свои наблюдения. Но местность была пустынна, как и накануне, и новый страх овладел душою Вальтера Шнафса — страх умереть с голоду! Он уже видел себя распростертым навзничь на дне своей ямы, с закрытыми глазами. Множество хищников, мелких хищников, приближалось к его труп и начинало его глотать, набрасываясь на него сразу со всех сторон, пробираясь под одежду, чтобы вырвать клочок его холодной кожи. А огромный ворон выклевывал ему глаза длинным клювом.

Тогда им овладело безумие; он вообразил, что вот-вот потеряет сознание от слабости и не сможет ходить. Он приготовился уже бежать в деревню, пренебрегая всеми опасностями, как вдруг увидел трех крестьян, шедших в поле с вилами на плечах, и снова нырнул в свой тайник.

Но едва только вечер одел равнину тьмою, он медленно вылез из ямы и, согнувшись, дрожа от страха, с бьющимся сердцем пустился в путь по направлению к отдаленному замку, предпочитая идти туда, чем отправляться в деревню, которая казалась ему такой же страшной, как логовище тигров.

Нижние окна были освещены. Одно из них было даже открыто, и сильный запах жареного мяса вырывался наружу; запах этот ударил в нос Вальтера Шнафса, проник до самых недр

его желудка, заставил солдата скорчиться, задохнуться и неумолимо повлек его, пробудив в его сердце мужество отчаяния.

И быстро, не размышляя, он появился в окне с каской на голове.

Вокруг большого стола обедали восемь слуг. Но вдруг горничная разинула рот и уставилась в одну точку, уронив стакан. Все глаза устремились за ее взором.

Все увидели неприятеля!

Боже! Пруссаки напали на замок!..

Сначала раздался крик, единый крик, в котором слились восклицания восьми голосов в восьми разных тонах — крик чудовищного ужаса; затем все поднялись с шумом, толкотней, давкой и обратились в растерянное бегство через дверь в глубине комнаты. Стулья валились, мужчины опрокидывали женщин и шагали через них. В две секунды комната опустела, и стол, заставленный едой, был покинут на глазах у остолбеневшего Вальтера Шнафса, продолжавшего стоять у окна.

Поколебавшись несколько мгновений, он перелез через подоконник и приблизился к столу с тарелками. Он дрожал, как в лихорадке, от жестокого голода, но страх все еще удерживал и парализовал его. Он прислушался. Весь дом, казалось, дрожал, запирали двери, над потолком раздавались быстрые шаги. Пруссак тревожно прислушивался к смугным звукам, а затем услышал глухие удары, словно от падения

тел на мягкую землю у основания стены, человеческих тел, прыгавших со второго этажа.

Затем всякое движение прекратилось, волнение улеглось, и большой замок сделался молчалив, как могила.

Вальтер Шнафс уселся перед нетронутой тарелкой и принялся есть. Он глотал большими кусками, словно боясь, что ему помешают и он не успеет проглотить достаточное количество пищи. Обеими руками отправлял он куски в рот, открытый словно трап, и комья пищи, раздувая горло, опускались раз за разом в его желудок. Порою он останавливался, почти готовый лопнуть, словно переполненная труба. Тогда он брал кружку сидра и прочищал себе пищевод, как промывают засорившийся сток.

Он опустошил все тарелки, все блюда и все бутылки, а затем, опьянев от еды и питья, отупевший, красный, сотрясаемый икотой, с помутившеюся головою и сальным ртом, расстегнул мундир, чтобы передохнуть, и почувствовал себя уже неспособным ступить ни шагу. Его глаза смыкались, мысли цепенели; он опустил отяжелевшую голову на руки, сложенные на столе, и незаметно утратил сознание вещей и событий.

Убывающий месяц стоял над деревьями парка, смутно освещая равнину. Был тот час холода, который предшествует рассвету.

Многочисленные и безмолвные тени скользи-

ли в кустарниках, и по временам от лунного луча светилось во мраке стальное острие.

Спокойный замок поднимался огромным черным силуэтом. Блестели только два окна нижнего этажа.

Вдруг громовой голос проревел:

— Вперед, чорт подери! На приступ, ребята!

Тогда в одно мгновение двери, ставни и окна затрещали под напором людского потока, который, вторгнувшись, наводнял дом, бил и сокрушал все на своем пути. В одну минуту пятьдесят солдат, вооруженных до зубов, ворвались в кухню, где мирно покоился Вальтер Шнафс, и, приставив к его груди пятьдесят заряженных ружей, опрокинули его, повалили на землю, схватили и связали с головы до ног.

Ошеломленный, избитый, сброшенный на пол, обезумевший от страха, он задыхался, слишком отупев, чтобы понять, что случилось.

Вдруг толстый военный, весь в золотых галунах, поставил ему на живот ногу и рявкнул:

— Вы — мой пленник! Сдавайтесь!

Пруссак понял только одно слово «пленник» и простонал:

— Ja, ja, ja...

Он был поднят, привязан к стулу и с неподдельным любопытством осмотрен своими победителями, пыхтевшими, как паровозы. Многие из них сели, изнемогая от волнения и усталости.

Он улыбнулся теперь, он улыбнулся, уверившись, наконец, в том, что попал в плен!

Вошел другой офицер и возвестил:

— Полковник! Враг отступил; многие, как видно, были ранены. Мы остаемся хозяевами замка.

Толстый военный, вытирая лоб, проревел:

— Победа!

И, вынув из кармана маленькую записную книжку, какие в ходу у торговцев, записал:

«После ожесточенной битвы пруссаки принуждены были отступить, унося своих убитых и раненых, которых насчитывается до пятидесяти человек, выбывших из строя. Несколько человек остались в наших руках».

Молодой офицер продолжал:

— Какие распоряжения я должен получить, полковник?

Полковник ответил:

— Мы должны отступить во избежание новой неприятельской атаки с артиллерией и более значительными силами.

И он скомандовал отступление.

Колонна снова выстроилась в темноте, под прикрытием стен замка, и двинулась в путь, скружая со всех сторон Вальтера Шнафса, охраняемого шестью воинами с револьверами в руках.

Для обследования дороги были посланы разведчики. Отряд подвигался осторожно, останавливаясь время от времени.

К восходу солнца прибыли к супрефектуре

Ла Рош Узеля, национальная гвардия которого одержала эту победу.

Население, напуганное и сильно возбужденное, ожидало их. Когда разглядели каску пленника, раздались грозные крики. Женщины махали руками, старухи плакали, а какой-то старец бросил в пруссак своим костылем и поранил нос одному из его конвоиров.

Полковник ревел:

— Охраняйте пленного!

Наконец отряд достиг ратуши. Отперли тюрьму, и Вальтер Шнафс, освобожденный от веревок, был ввергнут в нее.

Двести вооруженных человек образовали караул вокруг здания.

Тогда, несмотря на признаки несварения желудка, уже мучившего его с некоторых пор, пруссак, не помня себя от радости, принялся плясать, неистово плясать, высоко подбрасывая руки и ноги, плясать, заливаясь безумным хохотом, пока не свалился, наконец, обессиленный, у стены.

Он был в плену! Он спасен!

Вот как замок Шампинье был отбит у неприятеля, занимавшего его только в течение шести часов.

Полковник Ратье, торговец сукном, взявший замок приступом во главе национальной гвардии Ла Рош Узеля, был награжден орденом.

## ТЕТКА СОВАЖ

*Жоржу Пуше*

### I

Пятнадцать лет я не был в Вирлони. Я снова приехал туда на охоту осенью к моему другу Сервалю, который, наконец, восстановил свой замок, разрушенный пруссаками.

Я невыразимо любил эту местность. Есть в мире такие прелестные уголки, которые обладают чувственным очарованием для глаз. Их любишь физической любовью. У тех из нас, кого пленяет земля, сохраняются нежные воспоминания о некоторых ключах, некоторых рощах, некоторых прудах, некоторых холмах, виденных нами и трогавших нас, как трогают счастливые события. Иногда мысль даже возвращается к какому-нибудь уголку леса, или к местечку на берегу реки, или к усыпанному цветами саду, которые мы видели однажды в какой-нибудь ясный день и которые остались в нашем сердце, как те образы женщин, однажды весенним утром встреченных нами на улице в светлых прозрачных одеждах и оставивших у нас в душе и теле неудовлетворенное и незабываемое желание, ощущение прошедшего рядом счастья.



В Вирлони я любил всю местность, усеянную маленькими рощами и изрезанную ручьями, которые бежали по своему руслу, как вены, несущие кровь земле. В них ловили раков, форелей и угрей! Божественное счастье! Местами можно было купаться, а в высоких травах, росших по берегам этих узких полосок воды, часто встречались болотные кулики.

Я шел легко, как коза, следя за своими двумя собаками, убежавшими вперед на разведки. Серваль в ста метрах вправо от меня был занят обследованием засеянного люцерной поля. Я обогнул кусты, составляющие границу Содрского леса, и увидел развалившуюся хижину.

Внезапно мне припомнилась эта хижина, какой я видел ее в последний раз, в 1869 году, — опрятной, увитой виноградом и с курами перед дверями. Что может быть грустнее мертвого дома, разрушенный остов которого торчит так зловеще?

Мне также припомнилось, что в этой хижине добрая женщина угостила меня стаканом вина после утомительного дня и что Серваль рассказал мне тогда историю ее обитателей. Отец, старый браконьер, был убит жандармами. Сын, которого мне пришлось увидеть, был высокий худощавый юноша, также слывший жестоким истребителем дичи. Их называли Соважами.

Я позвал Серваля. Он подошел своим длинным журавлиным шагом.

Я спросил его:

— Что случилось с обитателями этой хижинки?  
И он рассказал мне следующее происшествие

## II

Когда была объявлена война, Соваж-сын, которому было тогда тридцать три года, поступил волонтером на военную службу, оставив дом одну мать. Старуху не особенно жалели, так как у нее имелись деньги, о чем было известно.

Таким образом, она осталась совершенно одна в этом уединенном доме, на опушке леса, так далеко от деревни. Впрочем, она не боялась: она была той же самой породы, что и мужчины ее семьи, высокою, худую и суровою старухой, которая не часто смеялась и с которой никто не пробовал шутить. Крестьянки вообще никогда не смеются. Это дело мужчин. У женщин же душа печальна и ограничена, потому что жизнь их пасмурна и лишена проблесков. Крестьянин еще знакомится немного с шумным весельем кабака, но его подруга всегда степенна, и черты ее всегда суровы. Мускулы ее лица не приучены к движениям смеха.

Тетка Соваж продолжала жить своей обычной жизнью в хижине, которую вскоре занесло снегом. Раз в неделю она приходила в деревню купить хлеба и мяса, а затем возвращалась в свою лачугу. Так как поговаривали о волках, то она выходила из дому с ружьем за плечами, с ружьем своего сына, которое было заржавлено

и приклад которого истерся под рукой; любопытно было видеть эту немного сгорбленную высокую старуху, медленно шагающую по снегу, причем дуло ружья торчало над ее черным ~~затылком~~, плотно обхватывавшим её голову и ~~скрывавшим~~ под собою ее седые волосы, которых никто никогда не видел.

Но вот пришли пруссаки. Их разместили по домам местных жителей сообразно состоянию и доходам каждого. К старухе, которую считали богатой, поместили четверых.

Это были четыре толстых парня, голубоглазых, белотелых, с белокурой бородой и все еще жирных, несмотря на лишения, которые им пришлось уже испытать; они были хорошие ребята, хотя и находились в побежденной стране. Проживая у этой старухи, они выказывали к ней большую предупредительность, стараясь по возможности избавить ее от трудов и расходов. Каждое утро, несмотря на сырую и снежную погоду, все четверо умывались возле колодца в одних жилетах, щедро поливая водой свое бело-розовое тело северян, а тетка Соваж в это время сутилась, приготавливая суп. Затем они подметали кухню, протирали стекла, кололи дрова, чистили картофель, мыли белье и выполняли все домашние работы, как четыре добрых сына возле своей матери.

Но старуха постоянно думала о своем собственном сыне, о своем высоком худом мальчике с крючковатым носом, с карими глазами, с

густыми усами, лежавшими над губой, как жгуты из черной шерсти. Ежедневно она спрашивала у каждого из солдат, живших у нее на постое:

— Не знаете ли вы, куда отправился двадцать третий французский пехотный полк? В нем служит мой мальчик.

Они отвечали:

— Нет, не знают, совсем не знают.

И, понимая ее заботу и ее тревоги, так как и у них дома были матери, они оказывали ей тысячу мелких услуг.

Когда речь заходила о немцах, живущих у тетки Соваж, в округе говорили:

— Ну, эти четверо нашли себе логово уютное.

И вот однажды утром, когда старая женщина была в своем доме одна, она увидела вдали человека, который приближался по равнине к ее жилищу. Скоро она узнала его — это был почтальон, разносивший письма. Он пододвинул ей письмо; она вынула из футляра очки, которыми пользовалась, принимаясь за шитье, и стала читать:

«Госпожа Соваж, это письмо принесет вам печальную новость. Ваш сын Виктор убит вчера ядром, которое буквально разрезало его на две части. Я был совсем близко от него, так как мы находились в роте рядом. Он говорил мне о вас и просил меня в тот же день уведомить вас, если с ним случится несчастье.

Я вынул у него из кармана часы, чтобы отдать их вам, когда окончится война.

Посылаю вам дружеский привет.

Солдат 2-й очереди 23-го пехотного полка

Сезэр Риво».

Письмо было написано три недели тому назад. Она не заплакала. Она неподвижно стояла, пораженная и ошеломленная до такой степени, что даже еще не почувствовала страдания. Она думала: «Вот и Виктор убит теперь». Затем мало-помалу слезы подступили к ее глазам, и горе наполнило ей сердце. Ужасные, мучительные мысли одна за другой начали приходить ей в голову. Она никогда не обнимет больше своего ребенка, своего большого мальчика, никогда! Жандармы убили отца, пруссаки убили сына... Ядром его разрезало надвое. И ей казалось, что она видит перед собой ужасное зрелище: голова падает с открытыми глазами, а он жует концы своих толстых усов, как всегда делал во время гнева.

Что же сделали потом с его телом? Если бы ей хоть отдали ее ребенка так же, как вернули мужа с пулей во лбу...

Но она услышала шум голосов. Это возвращались из деревни пруссаки. Она быстро спрятала письмо в карман и, успев хорошенько вытереть глаза, встретила их спокойно, с обычным лицом.

Они все четверо смеялись, очень довольные, так как принесли с собой прекрасного кролика, несомненно где-то украденного, и делали старухе знаки, что к столу будет кое-что вкусное.

Она тотчас же принялась готовить завтрак, но, когда надо было убить кролика, у нее не хватило на это мужества. А ведь это был для нее не первый кролик! Один из солдат убил его ударом кулака между ушей.

Раз уж зверек был убит, она сняла шкуру с его окровавленного тела; но вид крови, к которой она прикасалась, которая текла у нее по рукам, теплой крови, которая охлаждалась и свертывалась, заставлял ее дрожать с головы до ног; и ей продолжал мерещиться ее мальчик, разорванный надвое и тоже весь в крови, как этот еще трепетавший зверек.

Она села за стол вместе со своими пруссаками, но не могла проглотить ни куска. Они с жадностью съели всего кролика, не обращая на нее внимания. Она посматривала на них сбоку, не говоря ни слова, но точно вынашивая какую-то мысль, и лицо ее было так бесстрастно, что они ничего не заметили.

Вдруг она сказала:

— Месяц уже, как мы живем вместе, а я не знаю даже ваших имен.

Они поняли не без труда, чего она хочет, и назвали ей свои имена. Этого ей было недостаточно; она заставила их написать свои имена на бумаге с адресами своих родных и, одев очки на свой большой нос, окинула взглядом эти незнакомые ей письма, а затем сложила листок и спрятала его в свой карман вместе с письмом, извещавшим о смерти сына.

Когда кончили завтракать, она сказала солдатам:

— Теперь я поработаю для вас.

И принялась таскать сено на чердак, где они спали.

Эта работа удивила их, но она объяснила, что так им будет теплее; и они стали помогать ей. Они навалили сена до самой соломенной крыши и устроили себе, таким образом, нечто вроде большой комнаты, теплой и душистой, с четырьмя стенами из сухой травы, где им должно было чудесно спать.

За обедом один из пруссаков беспокоился, что тетка Соваж опять ничего не ест. Она уверила их, что у нее спазмы в желудке. Затем она развела большой огонь, чтобы согреться, а все четыре немца поднялись в свое помещение по приставной лестнице, которой они пользовались каждый вечер.

Как только чердачный люк был опять закрыт, старуха приняла лестницу, затем тихонько отворила наружную дверь и отправилась за вязанками соломы, которыми и наполнила всю кухню. Она ходила по снегу босиком так тихо, что ничего не было слышно. Время от времени она прислушивалась к громкому и разнобойному храпу четырех уснувших солдат.

Решив, наконец, что все приготовления уже сделаны, она бросила в очаг одну из вязанок, и как только солома загорелась, разбросала ее в

кухне поверх других вязанок, затем вышла и стала смотреть.

В несколько секунд вся внутренность хижины осветилась ярким огнем, а затем образовался один ужасный пылающий костер, исполинская раскаленная печь, свет которой выбрызгивался сквозь узкое окно и бросал на снег ослепительную полосу.

Затем из-под крыши дома раздался громкий крик, затем послышались вопли, раздирающие, полные смертной тоски и ужаса призывы. Затем, когда чердачный люк обрушился внутрь, столб огня метнулся на чердак, пронизал соломенную крышу и поднялся к небу, как громадный пламенеющий факел; вся хижина запылала.

Внутри уж ничего больше не было слышно, кроме потрескивания огня, скрипа стен, грохота падающих бревен. Крыша вдруг рухнула, и пылающий остов жилища выбросил в небо большой сноп искр среди облаков дыма.

Освещенная огнем, белая равнина сверкала, подобно серебряной, залитой красным отблеском скатерти.

Вдали раздался звон колокола.

Тетка Соваж стояла перед своим разрушенным жилищем с ружьем в руках, с ружьем своего сына, тревожась, чтобы кто-нибудь из солдат не ускользнул.

Когда она увидела, что все было кончено, она бросила ружье в огонь. Раздался выстрел.

Начали сбегаться люди, крестьяне и пруссаки.



Они нашли женщину, сидевшую на пне со спокойным и удовлетворенным видом.

Один немецкий офицер, говоривший по-французски, как настоящий сын Франции, спросил ее:

— Где ваши солдаты?

Она протянула худую руку к раскаленной груди потухавшего пожара и твердым голосом ответила:

— Там.

Вокруг нее столпились. Пруссак спросил:

— Отчего начался пожар?

Она произнесла:

— Это я подожгла.

Ей не хотели верить, думали, что несчастье внезапно лишило ее рассудка. Тогда, окруженная слушавшей ее толпой, она рассказала все, как было, сначала и до конца, с того момента, как пришло письмо, и до последних криков солдат, сгоравших вместе с ее домом. Она не забыла ни одной подробности из того, что перечувствовала, и из того, что делала.

Окончив свой рассказ, она вытащила из кармана две бумажки и, чтобы различить их при последних вспышках огня, снова поправила свои очки. Затем она произнесла, показывая одну бумажку:

— Вот эта — смерть Виктора.

Показывая же другую, она прибавила, кивнув головой на горящие развалины:

— Это их имена, чтобы написать родным.

Она спокойно протянула белый листок офицеру, державшему ее за плечи, и продолжала:

— Напишите, как это произошло, и скажите их родителям, что это сделала я, Виктуара-Симона Соваж. Не забудьте.

Офицер отдал приказание по-немецки. Ее схватили и отшвырнули к еще горячей стене ее жилища. Затем двенадцать человек быстро выстроились против нее в двадцати метрах. Она не двигалась. Она поняла и ждала.

Раздалась команда, тотчас же последовал продолжительный залп. Отдельно, после других, прозвучал запоздалый выстрел.

Старуха не упала. Она опустилась, как будто ей подкосили ноги.

Прусский офицер приблизился. Она была почти что разрезана надвое и в судорожно сжатой руке держала свое залитое кровью письмо.

Мой друг Серваль прибавил:

— В виде репрессии немцы разрушили тогда мой здешний замок.

А я думал о матерях тех четырех славных юношей, сгоревших там, в хижине, и о жестоком героизме другой матери, расстрелянной возле этой стены.

И я поднял маленький камень, еще черный от огня.

1 р. 75 к.